

Мучение любви архимандрит Лазарь (Абашидзе)

По благословению Епископа Саратовского и Вольского Лонгина

От издательства

От автора

Отзыв о книге «Мучение любви» – иг. Петр (Мещеринов)

От издательства

Книга, которую вы сейчас открыли, едва ли не самая необычная, неординарная из всех, выходивших в течение последнего десятилетия в российских православных издательствах. В подзаголовке она наименована «Келейными записками», и жанр ее, скорее всего, именно таков. Но по внутреннему содержанию она имеет настолько личный и в то же время искренний и откровенный характер, что порой более походит на исповедь, и потому ее название – «Мучение любви» – кажется максимально точно выражающим внутреннюю суть. В ней под тонким покровом слов скрываются не столько рассуждение, мысль, сколько живое чувство, боль сердца, пот, слезы и кровь.

Автор настоящих «Записок» – архимандрит Лазарь (Абашидзе), клирик Грузинской Православной Церкви, – хорошо известен российскому читателю. Эту известность отцу Лазарю принесли его многократно переиздававшиеся книги: «О тайных недугах души», «Грех и покаяние последних времен», «О монашестве», «Душе, отягощенной духом уныния» и ряд других, безусловно, достойных самого серьезного внимания и рассмотрения. Причина востребованности книг архимандрита Лазаря очевидна: они посвящены единому на потребу; отец Лазарь пишет и говорит о том, что важнее всего и о чем – вот горький парадокс! – пишут и говорят до чрезвычайности мало, а если все же и говорят, то зачастую недостаточно вдумчиво и глубоко. Причем слово его – слово живого опыта, слово не прозорливого, не святого, не «старца», но человека, который сам ищет в этой жизни спасения, сам пытается нащупать и

действительно нащупывает стезю, ведущую к Богу, к живому общению с Ним. И это слово тем ценнее, что принадлежит оно нашему современнику, знакомому с немощами и недугами сегодняшнего мира не понаслышке, но опять-таки опытно, что он и исповедует перед своим читателем.

Отец Лазарь не уходит от остроты вопросов, встающих сегодня перед христианином, живущим посреди мира в полном смысле языческого, из этого мира происходящим, ощущающим его дыхание не только на «своей спине», но и в самом своем сердце. Он ищет ответ на эти вопросы прежде всего для самого себя и может предложить найденное другим.

Надо сказать, что при всей очевидности той пользы, которую приносят людям книги отца Лазаря, не у всех они вызывают однозначное отношение. Порой можно видеть и неприятие его мыслей и идей: кто-то называет его максималистом, кто-то говорит, что, прочитав книги, написанные им, человек невольно погружается в беспросветное уныние. Однако если кого-то отец Лазарь обличает и судит, то в первую очередь самого себя, и более чем где бы то ни было открывается это в тех «Записках», которые вы держите сейчас в руках.

Для каждого христианина естественно стремление спастись. Но спасение, как, со ссылкой на преподобного Петра Дамаскина, говаривал и писал преподобный старец Амвросий Оптинский, совершается не иначе, как «между страхом и надеждой». Мы нередко испытываем страх: наша совесть не дает нам полного удостоверения в том, что мы делаем все, что могли бы, ради того, чтобы даже не приблизиться к Богу, а хотя бы сохранить верность Ему. Нередко также мы упокоиваемся и на некой ложной надежде, которая происходит не от всецелого упования на Господа, полной, безоглядной преданности, доверия Ему, а от нечувствия, от забвения о времени испытания, когда обличительницей нашей пред судом Божиим явится обычно столь легко попираемая совесть.

Но вот предстать перед лицом этой соперницы¹ уже сейчас, не уклоняясь от ее обвинений, не пререкаясь с ней, но самоохотно предоставляя в ее распоряжение свое сердце,

чтобы боль обличения, спасительного страха и стыда пред Создателем вычистила из него все скверное и непотребное, обновила и преобразила его, – вот что по-настоящему трудно! Трудно отчаяться в себе спасительным и богоугодным отчаянием, понять, что нет в нас ничего достойного не только вечного блаженства, но даже и помилования на Страшном суде, понять это и все равно не отпасть от спасительного упования на неизреченную Божественную любовь. Трудиться над собой изо всех сил, выбиваясь из этих сил, сознавая притом, что весь наш труд – ничто, и надеяться только на Господа – вот в самых кратких словах тот узкий и тесный путь, идти которым, как свидетельствует Сам Христос, решаются немногие².

«Мучение любви» – книга, написанная человеком, который следовать этим путем решил. Точнее, не книга, а дневник, первоначально вряд ли предназначавшийся для взора посторонних. Это не сборник поучений, наставлений, советов, не руководство, как можно было бы охарактеризовать прежние труды отца Лазаря. Здесь – желание поделиться со спутниками на дороге к вечности тем, что хотя бы отчасти было понято, открылось на ней, поделиться в том числе и собственными недоумениями и скорбями, не скрывая и не стыдясь их.

Вряд ли можно не согласиться с тем, что теплохладность – самая тяжелая болезнь современного христианства, а живая вера – то, чего более всего недостает каждому из нас. Мы, кажется, никак не можем заставить себя встать перед Богом прямо, поняв, что нас не отделяет от Него ничего, кроме наших грехов и нашего безразличия. Не можем заставить себя встать перед Богом и твердо сказать себе непреложную истину о том, что другой цели, кроме Бога, у нас нет и не может быть. И труднее всего бывает именно потому, что встать надо в одиночку, рядом не оказывается чаще всего никого или же поднимаются такие же немощные и малознающие люди, как мы.

Конечно, ни в коем случае не надо понимать слова об «одиночестве» спасающегося, как мнение о том, что спасающихся вовсе нет и нет никого, у кого можно было бы спросить совета и найти духовную поддержку. Имеется в виду нечто иное. Известен монашеский «афоризм», гласящий: «Бог и

душа – это и есть монах». Однако то же самое относится в действительности и к любому христианину. У иеромонаха Василия (Рослякова; † 1993) есть замечательное стихотворение, переложение 38 псалма, а в нем такие слова:

Я немым оказался на людной земле,
Бессловесно смотрел на распятие добра,
И раздумья одни воцарились в душе,
И безумная скорбь одолела меня.
Запылало отчаяньем сердце мое,
Загорелися мысли незримым огнем,
И тогда в поднебесье я поднял лицо,
Говорить начиная другим языком:
Покажи мне, Владыка, кончину мою,
Приоткрой и число уготованных дней,
Может, я устрашусь оттого, что живу,
И ничто не осилит боязни моей.³

Это чувство, о котором так верно говорит отец Василий, – «устрашиться оттого, что живешь», причем так, что «ничто не осилит» этой «боязни», очень болезненно для сердца, но и по-настоящему спасительно. Оно рождается от острого, благодатью Божией подаваемого сознания того, насколько реально все, о чем мы в общем-то знаем, но от чего обычно наш разум как бы «отталкивается»: жизнь, смерть, Последний суд и приговор на нем. Приходит ощущение того, насколько все серьезно: за каждый день, за каждый час, за каждое мгновение, за поступки, слова, мысли и самые сокровенные движения сердца с нас однажды потребуется отчет. И если удержать в себе эту спасительную боль, эту «печаль по Богу»⁴, то жизнь с нею в душе превращается в то, что святые отцы именовали «мученичеством совести». И пусть даже и с советом, и с наставлением более опытных, но каждому приходится самому «перегорать» в огне этого мученичества, молиться, просить, чтобы Господь сохранил от заблуждения и уклонения от Него: ведь многое из того, что происходит в духовной жизни человека, происходит лишь между ним и Богом. Оттого-то и возникает ощущение, что идти приходится в одиночку.

И в этом отношении книга отца Лазаря – дар, который трудно переоценить. Читая ее, очень отчетливо понимаешь: нет, ты не один. Совершать свой путь во мраке трудно. И хотя, может быть, «Записки» отца Лазаря еще не свет, но они яркое и истинное свидетельство о свете, который ни объять, ни поглотить не может никакая тьма. Это свет непрестанного, ничем иным не удовлетворимого стремления человеческой души к Богу – того, что является подлинным содержанием жизни христианина, сущностью и глубиной христианства.

Не все, о чем говорит архимандрит Лазарь, представляется безусловным и бесспорным. Многие и самих издателей заставляет задуматься: а можно ли с этим до конца согласиться? Но вместе с тем игнорировать его мысли и рассуждения невозможно. Они если и не дадут ответ на самые «больные» вопросы, то помогут его найти. Не помогут – заставят хотя бы начать его искать.

...Отца Лазаря трудно назвать профессиональным писателем. Он, по сути говоря, не писатель, а монах. И если говорить о нем, как о «художнике», то, скорее, в собственном смысле этого слова. В его речи очень много образов, необычных, индивидуальных, возможно, не всегда стилистически безупречных, но очень глубоких. И издатели не ставили перед собой задачу качественно «исправить», «улучшить» его стиль. Это могло бы повлечь за собой утрату «Записками» их подлинности, живости и безыскусственности. Поэтому вмешательство редактора было минимальным, ограничивалось лишь той мерой участия, которая необходима при подготовке авторского текста к публикации. Практически неизменной осталась и структура этого своеобразного монашеского дневника, который по-своему уникален.

Не исключено, что когда-нибудь в будущем это издание станет своего рода «памятником» – ярким памятником той эпохи, того периода в истории Православной Церкви (Русской или Грузинской – не столь существенно), когда после десятилетий богоотступничества и богоборчества тысячи душ, откликнувшись на призыв Божественной благодати, устремились к ее нетленному свету. Устремились, невзирая на

свое незнание, слабость, испорченность... Вступили в брань с миром и грехом в своих собственных сердцах. Побеждались и побеждали, сбивались с пути и снова находили его.

А сегодня «Записки» отца Лазаря – помощь и подспорье для всех нас, монахов и мирян, так же ищущих этот путь, так же переживающих это удивительное время, такое трудное и такое благодатное, когда так тяжело жить по-христиански и когда Бог настолько близок ко всем искренне ищущим Его.

От автора

Когда гонимые беженцы путешествуют через труднопроходимые горные перевалы в поисках далекой страны своего счастья, бредут по одному или небольшими группами по незнакомым тесным тропам, затерянным между скал, по краю жутких стремнин, пересекают глубокие ущелья, взбираются на крутые вершины, терпят холод, голод, изнемогают от усталости и, главное, от неизвестности будущего, колеблются в надежде на благополучный исход этого многострадального пути, – тогда каждый жаждет слышать слово подкрепления, обнадеживающие известия от тех, кто уже побывал впереди или, быть может, даже видал издали, за синевой гор, сияние искомой страны.

Некоторые достигали уже покойных мест и оттуда слали послания и призывы, поднимающие дух народа, указывали направление пути, способы преодоления препятствий, предупреждали о возможных опасностях. Но до запоздавших странников, спасающихся бегством в числе самых последних беженцев, эти ободряющие гласы едва доходили, а сильнейшая запуганность и крайнее изнеможение этих путников еще более усугубляли их унылое настроение, нерешительность и недоверие как друг к другу, так и к тем, кто издали звал их быть смелее. Сильно, сильно приуныла эта запоздалая группа бедняг. Многие уже блуждают в полном неведении направления пути, многие сбиваются с верной дороги и умирают от голода либо оказываются растерзаны дикими зверями, которые чуют добычу и часто подолгу подстерегают, не отобьется ли от толпы одинокий, изнемогший путник.

Крайне опасно стало путешествовать в одиночку; да и группами пробираться через суровый край ненамного легче. В

толпе особенно страшна паника, когда то один, то другой начинает сомневаться в правильности пути, в том, верно ли знает дорогу впереди идущий, все принимаются кричать, спорить, каждый подает свой совет, куда идти, группа разделяется, и в результате опять многие сбиваются с дороги, становятся добычей рыкающих хищников, которым великое ныне раздолье.

В таких обстоятельствах утешение и подкрепление душевных сил приносит лишь общение путешественников во время ночных горных привалов, когда удастся разжечь костер да еще сварить какую-нибудь жалкую похлебку из найденных трав, зерен или припасенных полузаплесневелых сухарей. Какое утешение тогда поделиться своим горем, выслушать друг друга, посочувствовать ближнему, рассказать ему о своей усталости, пожаловаться на боль в ногах, на головокружение, поговорить о страхованиях в пути, иной раз и посмеяться над своим малодушием, радуясь тому, что страшное миновало! По большей части здесь все вздохи, покивания головой, тихая смиренная речь, усталость и сострадание, вопросы, остающиеся без ответов... Но в этой горемычной общности, скорбном единении, сплетении душ одним бременем и несением одного креста, в общем ожидании исхода, в надежде избавления – немалая отрада и, главное, прояснение цели, смысла, оживление ревности, подкрепление мужества.

В сложных, запутанных и скорбных обстоятельствах у нас всегда возникает потребность найти ясное и однозначное указание пути с детальным просчетом каждого шага, который мы должны предпринять. Мы все желаем найти такого опытного, духовного, прозорливого наставника, который безошибочно просчитал бы нам все наши житейские перипетии и прописал безошибочный рецепт от всех болезней и недугов; нам часто представляется, что все наши духовные поиски должны быть направлены именно на отыскание такого вот «старца» и тогда все потечет ровно и плавно без особых уже с нашей стороны тревог и беспокойств. Но мы забываем (или и не знаем), что этот прямой, незаблудный и легкий путь нерасторжимо сопряжен с немалым подвигом послушания,

отсечения своей воли, отвержения самости. И ох как больно и многострадально для несмиренной и непростой души это благое иго⁵ полного и беспрекословного подклонения своей выи под руку такого старца! Но без подвига, без болезней, без внутренней ломки наших «окаменелостей» не спастись. Любовь к Богу (а спасется, то есть приблизится к Богу, без сомнения, только тот, кто возлюбил Его, и возлюбил немало), эта любовь должна пройти огонь очищения, испытания, освящения. Потому-то путь и лежит через крутые горы и по краю пропастей, по узкой и иной раз малохоженной тропе. Все реже и реже встречается этот подвиг доверия наставнику и веры в близприсущий таинству послушания Промысл Божий.

И то правда, что доверяться стало небезопасно, что по-настоящему опытных наставников не найдешь «днем с огнем», зато многие сами лезут в «старцы», так что не от каждого-то и отобьешься. И не поймешь порой, то ли недоверие оттого, что доверять некому; то ли есть кто-то достойный доверия, да доверяющихся нет никого. Но факт, что странники весьма блуждают теперь и чаще всего находятся в очень путаных, неудобопонятных и зело смущающих душу ситуациях – среди каких-то скал, зарослей колючек и во мраке ночи без звезд. Мечутся туда и сюда, задают вопросы, но ответов не слышат.

Все чаще приходит на память история с Иовом Многострадальным, тяжкие недоумения которого не могли разрешить мудрые, глубоко сочувствующие ему друзья. Но ответ на вопросы праведника и не мог быть выражен словом, не мог родиться в спокойно, холодно-логично работающем сознании. Испытывалась любовь Иова к Богу, сердце его очищалось и закалялось в огне этого жестокого испытания, и что мог здесь успеть рассудок? Из уст страждущего Иова исходили недоуменные вопросы, из уст его благодушествующих друзей – умные ответы. Но Иов оказался пред Богом выше и праведнее своих друзей⁶. Вот и нашему поколению нищих странников свойственнее задавать вопросы, пожимать плечами, вздыхать и, болезнуя, соскребать гной со своих ран, а разрешение недоумений предоставить Самому Господу.

Все это переживали и оплакивали отцы наши, когда шли той же «юдолью плача»; они передали нам эти вздыхания, разделили с нами нашу печаль – и нам гораздо легче от их слов. Вот строки из книги святого епископа Игнатия, которая так и названа – «Приношение современному монашеству», то есть нам непосредственно:

«Перелетая чрез греховное море, мы часто ослабеваем, часто в изнеможении падаем и погружаемся в море, подвергаемся опасности потонуть в нем. Состояние наше, по причине недостатка в руководителях, в живых сосудах Духа, по причине бесчисленных опасностей, которыми мы обставлены, достойно горького плача, неутешного рыдания. Мы бедствуем, мы заблудились, и нет голоса, на который могли бы выйти из нашего заблуждения: книга молчит, падший дух, желая удержать нас в заблуждении, изглаживает из нашей памяти и самое знание о существовании книги. Спаси мя, Господи, взывал Пророк, провидя пророческим Духом наше бедствие и приемля лице желającego спастись, яко оскуде преподобный!⁷ Нет духоносного наставника и руководителя, который непогрешительно указал бы путь спасения, которому желающий спастись мог бы вручить себя со всею уверенностью! Умалишася истины от сынов человеческих, суетная глагола кийждо ко искреннему своему⁸, по внушению душевного разума, способного только развивать и печатлеть заблуждения и самомнение»⁹.

Не раз этот святой отец говорил, что монахи последних времен должны спасаться скорбями. Но откуда бы взяться скорби, если бы была во всем для нас ясность и понятность, куда и как идти, что и отчего с нами происходит? И это недоумение, эту «оставленность» необходимо принять и понести, как часть нашего креста. Вздохать о нашей «никуданегодности», печалиться о нашей всегреховности, воздевать руки к небу об избавлении от многовидных зол, обступивших нас, и иметь единое упование на Господа! Видеть трезво свое положение, скорбеть и молиться о нем – уже БОльшая часть спасительного нашего делания. И чего еще нам ждать от себя?

И в настоящих записках нет ответов и разрешения множества возникающих недоумений, а именно эти самые «вопросы без ответов» – «охи», «ахи», вздохи, многоточия и вопросительные знаки вместо восклицательных. Полезны ли, наставительны ли хоть сколько-нибудь такие вот вздыхания еще одного из нищих, горемычных сегодняшних странников? Но, может, кто-то вздохнет вместе с ним, покивает грустно и понимающе головой, посочувствует, сам задаст ряд вопросов, на которые никто теперь не станет ему отвечать? Так вот посидим, поохаем и, немного обогревшись, побредем дальше со своими нищенскими котомками, но уже не так одиноко, не так печально.

Келейные записки

Монастырь Бетания 1987–1995 гг.

Монастырь Бетания («Дом бедности»), расположенный неподалеку от Тбилиси, посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы.

Архимандрит Лазарь являлся наместником этой обители с 1986 по 1997 год.

Остановимся, умолкнем, углубимся...

Нашему времени дан один подвиг – сознавать свои грехи и бессилие, каяться в них и терпеть без ропота все, что Господь попустит. Но и это совершить мы можем только испрашивая постоянно помощи от Господа. Игумен Никон (Воробьев)¹⁰

Человек один из всех живых существ во вселенной, даже преимущественно и перед Ангелами, имеет в себе начаток всех вещей, всех стихий мира сего, всех форм бытия, всех жизней, всех сфер видимого и невидимого творения. Только он многими тончайшими нитями, проводниками, неуловимыми рассудком, связан со всем окружающим его: через тело – со всем дыханием, движением, состоянием вещественного мира, космоса, через дух – со всеми сферами духовного неба, то есть с ангельским миром. Имея же в себе и некое «родство» с Самим Творцом (*И вдунул Бог в лице Адама дыхание жизни*¹¹), способен становится человек благодатью Божией достигать и неизреченного единения с Самим Богом. И вот представляется людям весь этот видимый мир беспредельным океаном чудесных вещей и стихий, грандиознейшим, изобилующим всякими благами, возможностью обретения новых и новых интереснейших областей познания. На все стороны открывается для них простор неограниченных открытий и деяний. Кажется, и миллионов жизней ученейших людей не хватит для того, чтобы охватить своей энергичной изыскательностью, бурной, любознательной деятельностью все глубины и широты, дали и высоты земли, неба, безбрежного океана звезд и звездных миров. Кажется, и миллиардов пытливых человеческих умов недостаточно для того, чтобы испытать, изведать все тайны одного вещества, не говоря уже о «тайнах души» – об этом неисчерпаемом кладезе удивительнейших сокровищ и красот. Творения одного какого-нибудь известного композитора или художника – область для многих исследований, восхищений и душевных переживаний – могут оказать влияние на культуру многих поколений. А ведь в них открылась только малейшая

часть душевных глубин человека. Какова же истинная глубина этих возможностей!

Однако без глубины иной, духовной, что представляет собой вся эта деятельность, все эти грандиознейшие на вид дела и затеи? Все эти громадные постройки, изобретения, кажущиеся фантастическими, все поразительные научные открытия и «обладание» тайнами природы, все эти полеты в космос, путешествия по Луне, погружение на дно океанов и строительство зданий (даже во глубине морей)? Все эти компьютерные новинки, электронные ритмы и «бешеные» скорости, вся эта роскошная пестрота и яркая, блестящая захламленность Земли, вся-вся эта так поражающая нас деятельность современного человека, ее многовидные плоды – что все это без действительной жизни духа человеческого, жизни по назначению? Все это лишь детская, пустая забава, глупая, скучная игра, пустоделие, пускание разноцветно переливающихся мыльных пузырей, только мгновение кажущихся прекрасными, но лопающихся, даже не долетев до земли, на которой остаются от них только капельки мутной водички!

Жизнь самого деятельного, самого нашумевшего своими «подвигами» героя, будь то полководец, ученый или поэт, спортсмен, «покоритель» космоса или дамских сердец, другой какой «герой», чуть ли не полмира взбудораживший своими громкими деяниями и похождениями, приведший в бурное движение многие умы и сердца, – и эта жизнь, если она не касалась глубин духовных, не разрывала тесных пут мира сего, не обрела истинной свободы духа, осталась лишь жалкой тенью жизни. Это было лишь увлекательное кино, кадры, пробегающие по полотну экрана; убогое подобие жизни, – вернее, пародия на жизнь. Это только искусно сыгранная роль, поза, гримаса, но не жизнь; лишь предсмертная агония, утрата драгоценного шанса обрести жизнь истинную.

Подберем поясняющие образы. Рассмотрим какую-нибудь приятную для глаз картинку – яркую, красочную, тонко выписанную: вот с впечатляющим натурализмом изображено тихое озеро среди невысоких гор, а здесь – густой сосновый

бор, начинающийся возле самой воды, чуть правее веселая лужайка вся в цветах, на ней, ближе к лесу, небольшой уютный домик. Напротив дома – небольшой причал в воде с привязанной к нему лодочкой. В общем такая приятная «идиллия», мечта каждого уставшего от суеты двадцатого века обычного горожанина. Все детально прописано на этой картине, пусть она даже огромна по размеру, нет в ней ни малейшего недостатка, но тем не менее это все еще не реальность, это только иллюзия, поскольку она всего лишь на плоскости картины. Ей не хватает еще одного измерения – объема, которое превратило бы ее в действительно существующее пространство. Итак, мы можем только смотреть на этот прекрасный вид гор и озера, можем только воображать, только мечтать об этом чудесном месте, где нам было бы так хорошо пожить, только представлять плеск воды, свежий ветерок, дыхание леса, пение птиц и тому подобное. Однако если бы мы могли каким-то чудесным образом – не мечтательно и не иллюзорно, а действительно – приложить к этой плоской картине третье измерение, дать ей глубину, то она стала бы настоящим жизненным пространством и мы смогли бы гулять по этому лесу, плыть по озеру на той лодочке, удить рыбу, отдыхать в том домике, да и вообще остаться жить до конца дней в этом прекрасном уголке. Это новое измерение дало бы нам область для деятельности, открыло дверь в новый мир, предоставило возможность пользоваться свободой избирать одно, отвергать другое, жить в том мире, который был для нас до сих пор только мечтой, только сладким сном.

Но пусть даже перед нами, вокруг нас есть прекрасный пространственный мир – видимый, вещественный, наполненный всевозможными красотами и благами, но не дано этому миру течение времени: все есть как есть, мы сами видим все это, осознаем, но ничего не можем изменить, взять, потрогать, даже сдвинуться с места. Все застыло в неподвижности, как царство в сказке о спящей принцессе: время стоит и все как бы оцепенело в состоянии абсолютного отсутствия движения. Такой мир был бы тоже вроде застывшей красивой картинки, только объемной: все представляло бы собой только изящные

раскрашенные скульптуры. Жизнь опять была бы невозможна в этом мертвом царстве. Но стоило бы только прикоснуться «волшебной палочкой» времени к этому миру, как все ожило бы, расправилось после долгого сна, закружилось в веселом хороводе жизни, побежало, как бежит освободившаяся от льда весной река.

Или вот еще один образ. Мы сидим в купе поезда, который монотонно и лениво ползет по рельсам; однообразно стучат колеса. Влечет он нас в далекий город, где мы должны будем продолжать свою полную скучных забот жизнь. Где-то далеко позади, в том городе, где мы родились и жили, остался «путаный клубок» бессмысленных дел, слов, знакомств, радостей-горестей, много всяких мелочей житейских, а где-то далеко впереди, там, куда везет нас этот поезд, опять ждет нас все то же «фараоново рабство», «плинфоделание», опять та же хлопотливо-суетная возня, нагромождение пустых фраз, дел, знакомств. И вот полусонно, безучастно смотрим мы в запыленное окно, вздрагивая в такт толчкам поезда. Взгляд наш напоминает усталый, затравленный взгляд зверька в клетке зоопарка – взгляд обреченного на вечный плен, на пожизненное заключение. Там, за стеклом, пробегают быстро-быстро кружевные деревья, дальше медленно плывут холмы и леса, села на холмах, где-то сверкнет, отражая небо, гладь озера; вдали неподвижно застыли, почти сливаясь с синевой небес, зубцы высоких гор, и такой простор, такая манящая, зазывающая даль! И так вдруг захочется, чтобы остановился этот скучнейший ритм, это однообразное, сонное болтание в душном купе; захочется открыть двери, выбежать на волю, расправить плечи, глубоко вдохнуть свежий воздух полей, выйти вон на ту дорогу, ведущую к лесу, пройти мимо того вот дальнего озерка, взойти на тот вот далекий холм и мимо крошечной деревеньки – к той вот старенькой церквушке на холме, так мирно, по-родному белеющей на фоне темной зелени. Или посидеть у глади вон той реки, или постоять на мостике, рассматривая жизнь подводного царства, и – жить, жить, позабыв скучную череду дел, забот-хлопот, тягот-сует. Убежать, скрыться от городов-пауков, выпутаться из тины и

паутины, засасывающей всего тебя в мутный омут, высасывающей все душевные силы, удушающей все радости и желания сердечные, выпасть из этой страшной машины, в которой ты обречен быть какой-то однообразно вертящейся шестеренкой. Остановить это лишенное жизни вращение конвейера и жить здесь же, сейчас же: дышать, видеть, слышать, радоваться миру Божию, всему тому, что так неотвратно убегает от нас за стеклом поезда, мимо чего мы тащимся в этом душном купе в серую шумную страну плинфodelания, подчиняясь мрачному, жесткому закону «надо!».

Итак, чего же опять нам не хватает здесь для желанного счастья? Остановить заведенный ритм движения по поверхности земли – однообразный, суетой навязанный порядок земных, плотских забот и трудов – и предпочесть всему этому свободу двигаться в ином направлении: вместо поверхностного пробега по дорогам жизни начать углубляться в саму эту жизнь, начать действительно жить. Город позади – наше бесплодно прожитое прошлое, город впереди – так же бессмысленно запрограммированное нами будущее. Поезд – жизнь наша, проживаемая в искусственных, лишенных всякого живого дыхания и истинной радости условиях, отгороженная разного рода мягкими и жесткими перегородками и двойными рамами от мира Божиего. Смотрим сквозь стекла на этот мир, восхищаемся его красотой, но предпочли ему тесные пластмассовые каюты, поролоновые лежанки, чемоданы, тюки, тряску под глупую воркотню радио...

И вот, так же как для полноты реальности плоской картине не хватало пространственной глубины и самому этому пространству не хватало бы течения времени, так и для всего этого мира, окружающего нас, при всей его красоте и богатстве, при всех наших многочисленных деланиях, поисках в нем, необходимо еще одно измерение, одно направление, передвижение, еще одна существеннейшая глубина – это вхождение в мир духовный, приближение к Богу, соединение с Ним по благодати. Без этого углубления, вернее, возвышения по степеням духовности, наша жизнь остается все той же

плоской яркой картинкой без пространства для жизни – одним мечтанием. Без этого восхождения в мир иной наше бытие лишь застывшее, мертвое пространство, лишенное жизни, как неподвижная скульптура, – опять же одна иллюзия, опять только пробегающий за стеклом пейзаж, на который мы со скукой взираем из тесного купе пассажирского вагона.

Но как мы двигаемся в пределах пространства и выбираем лучшие и приятнейшие места для жительства, так есть у нас способность перемещаться и в области духовной, все силы души, самый центр своей жизни сосредоточивая и располагая на разных степенях духовности. Можем избрать плотское состояние, все душевные и даже духовные силы поставить в рабскую зависимость от плоти и ее прихотей, завязнуть с головой в веществе, в его свойствах, все интересы, все цели иметь лишь в области материальных стихий, из человека превратиться в назойливо жужжащую муху, всегда озабоченную, усердно изучающую разного рода резкие запахи, исследующую «залежи полезных ископаемых». Можем избрать жизнь душевную, посвятив свои силы служению разного рода игре чувств и переживаний, изысканной игре на натянутых струнах больной, уставшей души, и прожить жизнь подобно пьяному, переходящему от бурного хохота к громким рыданиям и от душещипательных самоукорений к площадной брани.

И можем избрать жизнь духовную, когда человек ищет путь и дверь именно в духовный мир, в мир, лежащий за гранью вещества и чувств. Но и здесь опасность: «незаконно открытая дверь», вернее, *перелезание* через забор¹², приведет в мир падших духов, которые будут принимать вид светлых Ангелов. Такая «жизнь», конечно, не жизнь! Но если человек войдет в область истинно духовной жизни *дверью*¹³ истины – Христом, то в лоне Православной Церкви (а «царские врата» только здесь и находятся) он действительно может начать настоящую жизнь! Только здесь его жизнь получает смысл, цельность, значимость. Тогда открывается и цена всего того, что окружает человека в мире видимом. Оказывается, видимый, вещественный мир – это только книга о Боге, это только пособие, картина, всего-навсего живописующая нам образ истинной реальности. Это только

спроецированная на плоское полотно огромная, бесконечно прекрасная, безгранично богатая и славная жизнь. Но сама эта картина еще не жизнь. Только если мы движемся, устремляемся в область истинно духовного, тогда мы по-настоящему живем, идем, действуем, только это действительно труд и подвиг. Этот мир всего лишь дорога, по которой мы идем, от которой отталкиваемся ногой, спешим к дому, где нас ждут самые близкие, где все готово к трапезе. Но если мы не знаем цели пути, если, вместо того чтобы стремиться преодолеть эту пыльную дорогу, мы воспользуемся ею лишь для того, чтобы выстроить на ней убогую хибарку, – какие мы тогда жалкие, обреченные люди!

Только если мы в конце концов остановились от бега в «белищем колесе» бессмысленных хлопот вещественного благоустройства, вышли из пустой азартной игры, в которую вовлеклось уже все человечество, осмотрелись наконец по сторонам, немного оправились от головокружения и увидели, с помощью Божией, врата, хоть и тесные, но ведущие в вечность, к совершенству, встали на узкую тропу, по которой можно пройти к этим вратам, – только тогда застывший мир, словно мертвая декорация, сдвигается в сторону, и за ним открывается настоящая жизнь. Как в детской сказке про спящую царевну: проснулась душа наша – «спящая красавица», вместе с ней просыпается и окружающее ее царство. Тогда заговорит с душой весь окружающий ее чудный мир: все говорит, все проповедует вечные истины, все оказывается таким значимым, таким прекрасным, таким чудесным, и не потому, что оно приятно для глаз или съедобно, а потому, что во всем узнается Творец, во всем сокрыта тайная премудрость, и все о Боге, о пути к Нему, о тайнах вечности, о райских блаженствах, о гибели вне Бога.

Итак, весь окружающий нас пространственный, вещественный мир, со всеми его стихиями, изменяющийся во времени, – это еще не сфера бытия человека, существа, обладающего телом и духом. Видимый мир для нас лишь «отправная точка», «трамплин», с которого только начинается путешествие в океан настоящей жизни. И это не мечтание, не мир «воздушных замков», а действительная реальность –

начало вечности. Как выразился один святой старец, живший в XV веке поблизости от Царьграда: «Люди небрегут о сем (о спасении. – *Архм. Лазарь*), считая, что реален только этот земной мир, видимый нашим глазам; а между тем не знают они, что духовный мир и есть реальность и сущность вещей; так весь земной, материальный мир, объемлемый понятиями высоты, ширины, глубины и веса, находится во власти времени, которое все приводит к разрушению, потому что время – слуга смерти; а духовный мир стоит вне этих ограничений, вне этих цепей и рамок меры, и он бесконечно богат, вечен и неразрушим»¹⁴.

Наверное, можно сказать и так: этот видимый мир, колеблющийся во времени, непостоянный, меняющийся, как облака в небе, гонимые и развеваемые ветром, этот мир через высшую свою точку – человека – должен приобщиться к вечному и Божественному, и именно здесь уже он найдет цель своего призвания и назначения. Человек есть мост, соединяющий видимый мир с невидимым и с Самим Творцом видимого и невидимого. Там, где человек не служит вечности, не приобщается ей, – там он не на уровне своего призвания, «недочеловек», полумертвец. Он как семя, загнившее в земле, которое впитало в себя много воды, но не открылось теплу солнечных лучей, не смогло дать ростка, не потянулось из земли к небу, к солнцу, не вознесло от земли хваление и пение Дарующему жизнь, но сгнило, превратилось в тлен земной. Если отнять от житейского нашего круговращения эту науку вырастать духовно, произращать живой побег в область духовную, лишь корнями держась за мир, видимый чувственно, то весь этот мир, со всеми его просторами, ширью, красотами, наша самая деятельная, активная, «плодотворная» жизнь превращаются в бессмысленную игру, крайне скучную и пустую, почти что насмешку, какую-то жалкую «трагикомедию». Сам человек оказывается могучим гигантом, закованным в тесную железную клеть, талантливым музыкантом, которого заперли на всю жизнь в пустой комнате, оставив ему для посмеяния над ним только игрушечный барабан и детскую свистульку.

И только когда человек осознает тайну «нового измерения», станет понятна ему «философия» аскетов, подвижников,

отшельников. Тогда приобретут смысл и оправдание кажущиеся жуткими для мира подвиги: постничество, молчаличество, странничество, затворничество, пещерничество, столпничество, юродство и тому подобное, что «не от мира сего». Тот же, кто остановился вниманием лишь на событиях во времени и пространстве, не разумея, что суть всего уходит своими корнями совсем в иную область бытия и именно оттуда получает свое значение и освящение, – такой человек никак не может понять тех, кто отказывается от активного участия, от «плодотворной» деятельности в мире сем и как бы проваливается в «небытие», в какую-то «пустоту», по его мнению. Но на самом деле лишь эти «отрешенные» от мира сего и имеют истинное бытие, плодотворную деятельность и небесполезный труд, как раз они-то и очнулись от тяжелого, болезненного сна и восстали для бодрой и деятельной жизни. Они-то как раз и обрели обширнейшую и благоприятнейшую область приложения всех своих сил и способностей, они только и живут как настоящие люди!

Но для того, чтобы начать движение в этом направлении, необходимо в нашем видимом мире находить такие опоры и ступени, отталкиваясь от которых мы могли бы возвышаться духом. Наше земное бытие должно стать точкой опоры, основанием, на котором возвышается столп духовной жизни. Так дерево начинает свой рост с развития корней, и, чем выше вырастают ствол и ветви, тем больше и крепче бывают корни. Но, может быть, здесь более подходит сравнение с колесом, у которого только одна точка прижимается к земле, вся же поверхность движется над ней, и чем меньше эта точка соприкосновения, тем быстрее может бежать колесо. В то же время чем большую тяжесть возносит это колесо, чем больший груз несет оно на своей оси, тем крепче, сильнее оно опирается на землю. И нам, поскольку мы облечены в тела, необходимо опираться на все то, что окружает нас, но находить только действительно прочное на земле, могущее служить опорой для восхождения на небо. Главное, на каком уровне бытия будет находиться наш главный центр, наше «я», наш дух, наше произволение, наша свобода, или, другим словом, наша

любовь. Будем мы восходить по ступеням духовным или нисходить, приближаться или удаляться от Бога – будет меняться в зависимости от этого не только наше духовное состояние, но и видение всего мира, отношение ко всем вещам, ко всему одушевленному и неодушевленному творению, ко всем людям, даже к самим себе. По мере нашего огрубения будет «ожесточаться», «отчуждаться», даже «озлобляться» против нас и весь окружающий нас мир. По мере духовного роста весь мир вокруг нас будет «приближаться» к нам, «примиряться», радовать и возвышать. «Умиришь сам с собою, и умиряется с тобою небо и земля», – говорили отцы¹⁵. Углубляясь в область духовную, мы вовсе не потеряли бы связь с видимым творением, нет! Но, напротив, спала бы с наших очей мутная пелена, и мы бы узрели идеальную красоту вещей – то главное, что лежит в основе их, вложено Богом при их сотворении. В этом только случае связь с настоящим миром и бывает правильной, а душа такого человека насколько близка ко всему, что в мире сем, настолько и свободна ото всего.

Вот как об этом хорошо говорила схимонахиня Ардалиона, духовная наставница игумении Арсении (Себряковой): «Одно должна знать душа – что только в Боге ее покой и предел исканий. Поэтому она должна выйти в совершенную свободу не только от страстей, но и от своих чувств, в свободу от всего временного и войти в Бога. Такая свобода есть младенчество души, неведение зла. В такой свободе душа присуща всему человеческому, но ничему не подчинена, живет жизнью всего мира, ничем не гнушается, ничего не унижает, ничего не исключает из общей жизни как зло, как дурное, но сама ничем не связана, ни в чем не заключена, она точно умерла для своей жизни. Она вышла в свободу из себя самой и заключилась в Боге вечном. И то, что в ней живет, и то, что все объемлет, это – Христос, Который стал полнотою ее сердца, руководителем ее ума. К такому состоянию приводит свобода от всего человеческого»¹⁶.

Как теперь понятны покаяние, пост, воздержание, молитва! Это своего рода весла, которыми гребут, отталкивают от себя тяжелую воду, все грубое, дебелое, все, связывающее свободу,

с усилием отбрасывают от себя и плывут, дальше и дальше уходят в беспредельную морскую даль. Отталкивают грубое и тяжелое, чтобы перейти к тончайшему, далее видят еще более изящное и прекрасное, простираются опять вперед, отвергают все, что препятствует, чтобы подниматься все выше и выше. Вот где понятными становятся молитвенные воззвания святого Исаака Сирина, с которыми он советует чаще всего обращаться к Богу: «Сподоби меня, Господи, возненавидеть жизнь свою ради жизни в Тебе», «Сподоби меня, Господи, действительно быть мертвым для собеседования с миром сим»¹⁷. И стоит только нашей любви остановиться на чем-то конечном – и мы сели на мель! Движение тут же прекращается, мы опять связаны, лишены возможности простираться вдаль, опять влипли в плоскость, опять в душной клетке, смотрим на мир сквозь стекло, и нас влекут в рабство. Итак, вхождение в область духовную и движение в ней – это неизбежная борьба со своими привязанностями, отвержение ограниченного, разных «любовишек» и «нежностей», но жажда любви огненной – великого, преславного, вечного; жажда красоты не земной, относительной, всегда с изъяном, а красоты неизреченной, вечной. Это-то и движет, и подгоняет в пути. И начаток этой жажды есть в каждой душе, но не всякий понимает, где искать ее утоления, где этот кладезь воды живой. А не понимая, он жаждущим оком жадно взирает на «прекрасный и обильный водоем», лишь живописно изображенный на плоскости стены, но жажды утолить не может.

Личность и монастырь

Когда я прожил в монастыре только год, пришлось ехать на родину – в Абхазию, чтобы выписаться из родного города и получить законную прописку в обители, что связано было со многими бюрократическими формальностями и немалыми нервотрепками. Как только до прежних моих друзей донеслась весть о моем прибытии домой, они поспешили приехать навестить, имея, видимо, в мыслях предпринять и попытку отвлечь меня, если удастся, от моих намерений, то есть от решения «известить свою молодую жизнь в монастырском заключении», как-то повлиять и возвратить на круги «нормальной», «радостной», «полной утех» жизни. Наверное, им, как и многим другим моим близким людям и знакомым, думалось, что я делаю этот шаг от отчаяния или разочарования, что потерял здравый взгляд на мир, впал в меланхолию или даже душевно заболел.

В общем, довольно наговорившись, мы так и не поняли друг друга, и наконец пришло время расставания. Мои бывшие друзья уезжали в далекий город в России – я через пару дней отправлялся в монастырь, где числился уже послушником и где уже окончательно решил остаться навсегда. Они смотрели на меня грустно, с какой-то боязливой жалостью (как смотрят обычно на осужденного после окончания суда и вынесения ему строгого приговора), чуть ли не хоронили заживо. Какая-то полоса разрыва, холодного, мертвящего разделения, в котором и страх, и отчуждение, и в то же время сожаление, и многое другое, как глухая стена, пролегла между нами. Подобное отчуждение при внешне выраженном участии ощущается и тогда, когда провожают человека в операционную на сложную, опасную операцию или когда навещают родственника в психиатрической клинике. Они жалели меня – я жалел их. У меня было ясное, сильное чувство, что я наконец-то еду на свободу, словно после долгого заключения, после тоскливейших дней, проведенных в тесных камерах и коридорах, прогулок по тюремному двору, всегда под надзором

чужих, злых глаз, после годов постоянного принуждения делать все самое скучное и бессмысленное. Но вот, я еще томлюсь сегодня, завтра; однако там, впереди, – дорога во что-то широкое, просторное, светлое и бесконечное. Там ясно-ясно, все солнечно и много свежего воздуха – как широкое окно, распахнутое из жаркой, душной комнаты в прохладный, густо заросший огромными деревьями сад, утопающий в цветах.

А они? Они уходили в какой-то тесный, полутемный коридор, где всегда людно, где всегда много шумных, раздраженных и усталых людей, которые всегда куда-то спешат, бегут мимо тебя, толкаются, бросают друг на друга резкие иронические или злобные взгляды и опять спешат в свой хаотичный маленький мирок, напоминающий мусорную свалку разных помятых ярких коробочек, блестящих фантиков и всякого рода жестянок. Пустой-препустой хаос! Там все смотрят на тебя в упор, но тебя не видят: видят только свое примитивное клеймо, которым заклеили твою личность, видят только упрощенную схему, только отдельные знаки, какие-то штампы вместо живого человека... Уходили туда, где всегда накурено, всегда душно, где всегда пахнет пищей и табаком, вином, бензином и лекарствами, где приятнейшим ароматом считается запах разного рода вонючих «дезодоров».

Там всегда зудит, скрежещет, дребезжит какая-то истерическая музыка, вопят голоса бьющихся в агонии, в предсмертных конвульсиях; истошные ритмы и предельно натянутые визжащие звуки – все эти явные признаки одряхлевшего, умирающего мира, обезумевшего, опустошившегося окончательно, спившегося, развратившегося и потерявшего всякий смысл бытия. Искусство, поэзия, литература, музыка современных людей уже не несут в себе ни радости, ни серьезной печали, ни глубоких чувств, но лишь какие-то случайные обрывки, нагромождения, обломки того, что когда-то было душой человека, и все это вытянуто, уродливо растянуто, как в кривых зеркалах. В этом мире идет постоянная «грызня», постоянная мелкая драка: пихание исподтишка локтем в бок соседа, скрытые уколы в спину впереди идущему, наступание на ногу близстоящему. И это всюду: в битком

набитом автобусе, в очереди за продуктами, даже в веселом застолье. Да! Там страшнее всякой тюрьмы, горше всякой психиатрической больницы! И они ехали туда! На всю жизнь! Бедные!

Но опять же, на их взгляд, в тюрьму шел я. «Ведь там, в монастыре, нужно вставать рано утром, по звону, всегда в одно время, как в казарме; есть, пить, спать – все по расписанию; во всем какие-то ограничения и запреты; никакой свободы распоряжаться собой – и так всегда. Нет даже выходных дней, когда позволялось бы выйти из этого порядка и повольничать. Даже выходные и праздники – и те все расписаны по часам и по обязанностям. О ужас! Там нельзя позволить себе никаких радостей и развлечений: посидеть с друзьями в веселом застолье, посмотреть новые фильмы, послушать музыку, даже классическую! Нужно во всем давать отчет своему руководителю, все открывать ему. Ничего нельзя сделать так, чтобы тот не узнал! Даже книги – и те читать нельзя свободно, какие хочешь, но и это согласовывать с настоятелем? Все по подсказке, по указке, по приказу? Нельзя пойти прогуляться в лес без разрешения? Даже думать можно не все, что хочешь? И в этом надо давать отчет?! О ужас, ужас! Даже чувства – и те под контролем другого человека! И это не тюрьма? Это не рабство? На всю жизнь так? О... бедный, бедный наш друг! Какое горе, какое отчаяние могли толкнуть тебя на это самоубийство, на это погребение себя заживо в такие молодые годы?!».

Так смотрели на мой отъезд не только эти люди, но и многие другие мои знакомые, близкие и дальние. С таким же ужасом и сожалением и теперь многие смотрят на идущих в монастырь молодых людей. «Ведь каждый человек имеет право на свободу, на выявление своей личности, – думают они, – тем более в наше время уже изжиты эти дикие пережитки прошлого, когда люди порабощали друг друга, когда должны были подавлять собственную личность и лишались своей индивидуальности. Ведь это варварство и дикость! Человек – такое уникальное, удивительное существо! Каждый человек, кто бы он ни был, таит в себе столько нового, особенного,

необычного. Как можно что-либо из этого подавлять, ограничивать, подгонять под какую-то униформу и шаблон! Нет, смысл как раз в том, чтобы обогащать друг друга своим особенным, вносить в этот мир что-то новое: свое видение, свои неповторимые ноты и краски, свои неординарные всплески чувств, новые мысли, идеи, свой индивидуальный подход к миру, свою, не похожую на других любовь к нему и к людям... В общем, весь смысл в том, чтобы развить в обществе людей свою личность, сыграть на струнах души и тела под аккомпанемент животрепещущего вокруг мира свою неповторимую мелодию. И как страшно, как жестоко лишить человека в этой жизни возможности быть личностью, быть индивидуальной, самобытной фигурой, быть в своем роде единственным и неповторимым!

А здесь, на этих средневековых обломках дикого прошлого, среди руин отжившего свои века темного и мрачного мира, опять это насилие над личностью? Опять это мракобесие? Опять человека превращают в жалкого холопа, падающего ежеминутно на колени, постоянно унижающегося перед своим начальником, ежедневно просящего прощения, кающегося – в чем? В том, что сделал что-то по зову своей живой натуры, стремящейся объявить, проявить себя в мире, жить и оживать? Грехом считать проявление яркой индивидуальности? Затыкать рот, бить по лицу личность за то, что она хотела громко пропеть свою, особенную, только ей дарованную песнь любви к миру? Вот что есть действительно «закапывание таланта в землю»! Вот что есть действительно самоубийство! Разве индивидуальность, этот редкий музыкальный инструмент, хорошо настроенный, с натертыми канифолью струнами, врученный Богом каждому человеку при его вхождении в этот мир, не для того дан, чтобы сыграть на нем именно твою песнь? И ты топчешь эту «псалтирь» ногами, рвешь струны, затаптываешь в прах и еще каешься, что имел иной раз желание сыграть на ней? Угодна ли Богу такая ваша «жертва»?».

Сколь многие теперь так или с подобным настроением смотрят на монашествующих. И это на самом деле вопрос интересный и

немаловажный. Действительно, не «деградирует» ли личность в условиях монастырского «ига послушания», не лишается ли своих особенностей при постоянном труде над отсечением своей воли, не насилуется ли богодарованная свобода человека при жизни всегда «по благословению, под руководством, по наставлению», при постоянном контроле и надзоре? А эти сухие порядки общежития? Эти одинаковые одежды, прически, однообразная жизнь, чтение одних и тех же книг, повторение одних и тех же молитв изо дня в день лишь с небольшой переменной, а то и вовсе бесконечное повторение нескольких слов молитвы – и это годами! Не превращается ли человек в какую-то заведенную машину, в какого-то безвольного робота, лишенного собственных понятий, мнений, суждений, лишь повторяющего заученные мысли и слова? Не потому ли больше всего монахи ценят послушание в подчиненных, что это самая подходящая черта характера для превращения человека в такую легко управляемую марионетку? Не та же ли здесь практика, что веками вырабатывалась и в казармах солдатских, и в разных военизированных организациях, во всяких там орденах и сектах?

Но что мы теперь обычно разумеем под «личностью»? Чаще всего – «индивидуальность». Но личность и индивидуальность далеко не одно и то же! И мало того, они даже в какой-то степени противоположны и противодействуют одна другой! Развитие индивидуальности человека как раз сковывает и ограничивает личность и ее развитие, лишает ее действительной свободы. Дело в том, что мы знаем человека только в его падшем состоянии, в болезненном, искаженном виде; знаем человека в положении поработанном, целиком увязшим в попечении о земном, занявшимся широким развитием лишь своей наружной, плотско-душевной части естества, по отпадении от Бога знаем человека, не ведающего чаще всего духовной жизни. Мы знаем человека, многое утратившего из своего человеческого достоинства, *во многом уподобившегося скотам несмысленным*¹⁸, свое лицо обратившего к персти земной, свою свободу личностную утеравшего и подменившего ее индивидуальностью – какой-то

ограниченной со всех сторон «самостью», как бы всего «вывернувшегося наизнанку». Стало в человеке второстепенное главным и главное – второстепенным. Именно в таком состоянии мы чаще всего и видим ближнего и самих себя: в рабстве «плинфоделания», «под игом фараона», то есть под игом разного рода телесных и душевных похотений, – в постоянном «послушании безропотном» у нашей одевшейся природы.

Весь целиком человек сам погрузился в заботы и попечения о своей природе, хотя это вовсе не должно было бы отягощать личность. Если б человек не отпал от Бога, не сказал: «Я сам!», то его природа всегда получала бы от Бога все необходимое и полезное и тогда бы личность обрела свободу именно личностно, именно как совершенно неповторимое «я», то есть раскрывалась бы в Божественном, духовном, бесконечно прекрасном, неизреченно благом и вечном. Здесь личность, как некое малое зеркало, могла бы отразить в себе – при всей своей относительной малости – бесконечно прекрасное и все более и более раскрываться и отражать в себе Божественное, бесконечное. Это и есть действительно личностное, неповторимое. Каждая личность переживала бы это богообщение как свое, совершенно особенное, неповторимое счастье. Но, сведя свое личностное лишь к своей природе и занявшись самостоятельным ее обустройством в мире ограниченном, личность стала лишь «бедной домохозяйкой», погрязшей в мелких, земных хлопотах и попытках реализовать в жалких, тесных «коммунальных» условиях свои «царские замашки».

Да, в самом деле, каждый человек ведет себя крайне своеобразно, и истинная причина этого – в его неповторимой свободной личности! Но в том-то и дело, что личность, повернувшись лицом к ограниченному и временному, никак не может воспользоваться своими богатыми возможностями и только иной раз плачет, поет, рыдает о чем-то таинственном и непонятном, и люди вокруг как будто тоже что-то в этом узнают такое родное, такое знакомое, но забытое. И это называют «раскрытием личности», «неповторимым своеобразием» души

человека. На самом же деле это стон души, какой-то невнятный плач, неизъяснимая жажда, которую испытывает личность, не находя для себя в этом мире того, чем она могла бы дышать, жить, что утолило бы ее жажду и голод. И она стонет от этого, кричит: то плачет, то хохочет, то «бьет посуду», то вдруг опускается на дно моря и ищет там, поднимается на высокие горы, вглядывается в звезды, – всюду ищет, мечется, томится, не находит, опять стонет... А мы говорим: «Какая необычная судьба! Какая выдающаяся личность! Вот это настоящая жизнь! Этот человек не напрасно прожил отпущенные ему годы!». Представьте: талантливейшему, способнейшему музыканту, композитору и певцу, человеку, который только в музыке находит упоение и отраду, кто-либо (по лютой ненависти к нему и к его таланту) свяжет руки, закроет уста и запрет в глухой тюремной камере, куда никогда не доносится никакая музыка. И вот несчастный терзается этим заключением, стонет, вздыхает, скребет ногтями дверь, а проходящий мимо камеры глуховатый надзиратель думает: «Какие удивительные звуки, какая музыка! Нет, что ни говори, каждый человек совершенно неповторим!». Именно подобное «раскрытие» личностного чаще всего мы и наблюдаем в каждом человеке, не ведающем действительной свободы.

В том-то и суть, что личность должна быть свободна от своей природы, она не должна ею определяться. «Индивид означает извечное смешение личности с элементами, принадлежащими общей природе, тогда как личность, напротив, означает то, что от природы отлично.... Когда мы хотим определить, «охарактеризовать» какую-нибудь личность, мы подбираем индивидуальные свойства, «черты характера», которые встречаются у прочих индивидов и никогда не могут быть совершенно «личными», так как они принадлежат общей природе. И мы в конце концов понимаем: то, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его «им самим», – неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, всегда единственной, несравнимой и «бесподобной». Человек, определяемый своей природой, действующий в силу своих природных свойств, в

силу своего «характера», – наименее «личен». Он утверждает себя как индивид, как собственник собственной своей природы, которую он противопоставляет природам других как свое «я», – и это и есть смешение личности и природы. Это свойственное падшему человечеству смешение обозначается в аскетической литературе Восточной Церкви особым термином «автотис», «филафтия», или, по-русски, «самость».... Понятие личности предполагает свободу по отношению к природе, личность – свободна от своей природы, она своей природой не определяется. Человеческая ипостась может самоосуществляться только в отказе от собственной своей воли, от того, что нас определяет и порабощает естественной необходимостью. Индивидуальное, самоутверждающееся, в котором личность смешивается с природой и теряет свою истинную свободу, должно быть сокрушено. В этом – основной принцип аскезы: свободный отказ от собственной воли, от видимости индивидуальной свободы, чтобы вновь обрести истинную свободу – свободу личности, которая есть образ Божий, свойственный каждому человеку»¹⁹. Да, об этом вопросе можно немало найти глубочайших суждений у святых отцов.

Таким образом, монастырь является самым идеальным местом именно для освобождения и раскрытия личности человека в полном ее сокровенном богатстве и широте. Здесь «внешний» наш человек получает все необходимое для жизни – ровно и в меру, без отягощающих и расслабляющих излишков. Здесь все продумано и устроено так, чтобы он мог не заботиться ни о чем другом, кроме внутреннего совершенствования и устремления к небесному. Здесь его земные заботы и хлопоты обо всем, связанном с его пребыванием в мире сем, непостоянном и непрочном, сведены к предельному минимуму, в то время как заботы о вечном и вхождении в него весьма пространны и разнообразны. Конечно, все сказанное – это в идеале, и сегодня уже нечасто найдешь в монастыре близкие к этим условия. Однако если правильно себя повести, то даже во многих слабых по монашеской жизни обителях все же гораздо удобнее сужать свое земное и дебелое «распластание» в области суетной, собираться, стряхивать

лишнее и отягощающее, возвышаться к духовному, там располагать свои заботы и интересы. А это и будет действительным раскрытием и выявлением своего личностного, достойным приложением своих неповторимых дарований и способностей.

И бедные, бедные мы люди, когда спешим выказать себя перед обществом, отметиться, запечатлеться, оставить след поглубже на этом «прибрежном песке». Волны времени безжалостно смывают и слизывают любой, даже самый интересный рисунок на нем. Да, действительно, душе дано право войти в мир сей и пропеть только одну-единственную песнь, и нельзя потерять время, проспав его. Песнь надо пропеть, пропеть с глубоким чувством, вложить в нее всю свою неповторимость, свою «единственность». Но основной смысл, дающий цену этой музыке, лишь в том, кому посвящена эта песнь, кого она славит, о какой любви она говорит. И как часто сегодня человек превращает эту песнь в какое-то мычание, блеяние, скотское завывание, кричит куда-то в пустоту, кривляется, дразнит, сам не зная кого и зачем, и называет это свободой, самовыявлением своего неповторимого «я». Бежать! Бежать без оглядки от такой свободы.

Воцарившийся раб

С того дня, когда мы перестаем быть язычниками и становимся христианами, мы прекращаем «просто жить» и начинаем страдать, мучиться, изнемогать ото всего того, чем раньше утешались и упокаивались. То, что раньше казалось желанным и покойным, что развлекало и услаждало и все еще, по старой привычке, влечет к себе и манит, уже запретно, оно горчит, жжет, томит и вызывает тошноту; с ним приходится бороться, от него отбиваться. То, что казалось родным домом, становится оковами и сетью. Что увеселяло и расслабляло, теперь печалит и напрягает, что казалось нежным ароматом, оборачивается отвратительным зловонием. Что ободряло, давало стимул жить, как теперь открылось, было лишь «наркотиком», обманчивым, отравляющим зельем. Тот, кто казался другом и собратом, явился коварным, злонамеренным врагом. От того, что любили видеть и слышать, оказалось надо поскорее отворотиться и смотреть в другую сторону – туда, где до сей поры ничего не видели и не примечали. Стало нужно беречь и слух от чего-то близкого, такого родного, понятного и отчетливо слышимого и прислушиваться к тому, что всегда считали несуществующим, кажущимся.

Но оно-то, кажущееся, и явилось наиреальнейшей действительностью! И что пугало, от чего в страхе отворачивались, на том теперь надо сосредоточиться всем вниманием... Почему так?

Да потому, что человек, а с ним все: все дела его, все мысли, все чувства, весь мир вокруг – все «вывернулось наизнанку», «нутром наружу». Как если бы мои органы – все эти мои «вкусовые рецепторы», все эти вкушающие и усваивающие простую, грубую пищу, жующие и всасывающие прах мои внутренности – стали моей наружностью, а лицо, руки, мои глаза и уши втянулись внутрь и видели бы только мрак своего дебелого тела. Какой ужас! Какая бредовая фантазмагория! Сальвадор Дали! Но так и есть! То, что должно видеть мир Божий, – вернее, Бога, отражаемого в Его творении, видеть и

трепетать, хвалить и славить, – все это обратилось внутрь, хвалит и славит лишь свое тяжелое, дебелое, ползающее по земле: свою сытость, свою похотливость и свою земную изобретательность. То, что предназначено лишь для самого грубого, для черной, самой низкой работы, вышло наружу, стало царствовать, стало давать советы, стало вождем, главой. Чрево, похоть, щекотание нервов – они стали нашими глазами, нашими ушами, нашей жизнью и нашим лицом.

*Земля трясется, аще раб воцарится, раба аще изженет госпожу свою*²⁰, – по слову Соломонову. Вот он – самый страшный «государственный переворот»! Теперь уже, конечно, предстоит обратный процесс: долгий, болезненный, претрудный. Так медленно, с долгим болезнованием возвращается к жизни человек, долгие годы принимавший сильнейшие наркотики и почти уже обреченный, но после долгих и настойчивых усилий добрых врачей обращенный опять лицом к реальной жизни. Как из кошмарного сна, как из долгого заточения – помалу, по крохам – приходит узнавание, вспоминание чего-то вправду живого и настоящего. И как часто берет сомнение в возможности выздоровления! Как часто сладость греха кажется непреодолимой, жизнь без этих земных забав и развлечений представляется невыносимо пустой, безвкусной, как старый, высохший сухарик. Но это не так! Это только обман, диавольский искус: когда начнет возвращаться здоровье, когда появится здоровый вкус и чувства станут просыпаться, тогда понемногу начнет ощущаться некая тончайшая сладость, приятность которой ни с чем не идет в сравнение, ни с какой наисладчайшей приятностью мира плотского. Сладость тихой уединенной молитвы, молчания и углубления в духовные рассуждения, зрение той красоты, которая отражается в житиях святых, знакомство с высотой и святостью христианского подвига – все эти новые переживания уже на первых порах несут в себе такое необыкновенное утешение!

Но все эти чувства нежны, тонки, как запахи полевых весенних цветов. Так легко их утратить, спугнуть, перебить густо пахнущими парами, несущимися от «египетских котлов с мясом»²¹. Долгая, трудная борьба! Многие ли решатся вот так

переболеть, перестрадать, протиснуться *сквозь игольное ушко*²²? Как грубое, плотское может перетечь в духовное, в тончайшее? Можем ли сквозь стекло пронести свечу? Можем! Зажжем ее, она прогорит, но свет и тепло проникнут через преграду стекла, понесутся вдаль, к самому небу. Гореть, плавиться и превращаться в свет и жар под действием огня – сложный процесс. Жить ради Бога, спасти душу не покойное, довольное житие, а битва, кровопролитие, крестоношение. *Не мир пришел принести Христос на землю, но меч*²³.

Решающая битва

Каждый христианин в своей жизни по вере однажды должен пройти через главный, решительный бой, центральное сражение, такую «куликовскую битву». Может, бывает и несколько, а то и много таких значительных побоищ, но все-таки обязательно есть одно из них – главнейшее, то есть то, которое решает весь дальнейший ход духовной жизни; именно от исхода этой битвы зависит, на чьей же стороне будет окончательная победа. Возможно, эта битва не была грандиознее других, но она повернула ход борьбы, дала решающие преимущества одной из враждующих сторон. И, быть может, не сразу это бывает видно. Так всегда, уже после окончания войны, через многие годы исследователи истории находят эту «кульминационную точку», этот перелом всего хода военных событий. Часто после такой победы следует ряд поражений, но окончательный исход всех сражений уже предрешен. Бывает иначе: какое-то поражение предопределяет окончательный провал, хотя еще случаются отдельные «триумфы». Вся история нашего мира разве не говорит об этом? Казалось бы, зло торжествовало и диавол овладел всем миром, но победа Христа, для многих вначале вовсе не приметная, казавшаяся даже полным поражением христианства, эта победа определила окончательное разрушение царства зла. Да, после Крестного подвига Спасителя и торжества христианства еще предстоит земле крайнее засилие зла, царство антихриста; христианство будет казаться уничтоженным, изгнанным из мира. Однако победа предрешена: придет Царствие Божие!

Так и в нашей духовной жизни – рано ли, поздно ли – должна произойти эта битва! Но где, когда, как это будет – никто из нас предвидеть не может. Пока что идет как бы приготовление – с обеих сторон. И теперь, конечно же, каждая сторона уже ведет военные действия, но это по большей части «холодная война» либо лишь мелкие «перестрелки» и «перебранки»: настоящего дела еще не было. Пока что внутри нас две разнонастроенные, враждебные стороны как-то

уживаются, как-то терпят друг друга, хотя и постоянно вредят друг другу и отнимают друг у друга свободу действий. Но быть большой драке! Пока же только копят силы и ненависть. Когда это начнется? Где? Где-то есть уже место и час для каждого из нас, где-то уже предуготовано Промыслом Божиим поле брани, предусмотрены и «союзники», то есть какие-то люди – братия, отцы, может быть, в каком-то монастыре, может, в скиту или еще в каком-либо месте какая-то помощь – те, кто поддержит, подбодрит, подаст руку. А может, и вовсе одному придется быть: тогда только молитвы ко святым, совет из книг отеческих, воскрешение в памяти всего слышанного, виденного в среде ищущих спасения. Конечно, не мы боремся сами: с нами – Господь. Но в том-то и дело, что Господь в это время как бы сокрывается и отступает: это час, когда испытывается наша любовь к Нему. История с Иовом Многострадальным тут многое пояснит. Но готовиться надо заранее. Бой будет! Это закон духовной жизни! *Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу*²⁴.

Мы и теперь уже начинаем по временам военные действия, но потом пугаемся предстоящей войны и отступаем. Вообще-то, наше христианское дело – военное всегда! Но главное сражение впереди; его не обойти! И по-настоящему по Богу жить можно начать только после него. До этого «экзамена на верность» мы еще только «новобранцы», изнеженные, нерешительные, теплохладные, сонные и вялые. Но надо уже «заряжаться» этим боевым настроением, уже разжигаться гневом на врага, уже бряцать грозно оружием и бросать вызов ему. Настанет час – «детские игры в войну» придется оставить и пролить-таки кровушку. Пора уж посерьезнеть. Дракон просыпается. Впереди и боль, и страх, и плач, и стоны. Война есть война!

И то необходимо сказать, что даже после многих проигранных битв терять надежду все-таки нельзя: и тогда вполне возможно, что главный и решающий бой еще впереди. Как говорил один святой старец, «на войне не первая битва решает исход войны, и даже не вторая и не третья, а именно последняя; вот она-то и решает все. Не часто ли бывало в истории, что государства и великие армии терпели поражения,

несли потери, оставались без военного снаряжения, отступали и вообще терпели лишения, страдания, потери и бесславие?! И, однако, опытные полководцы не сдавались и не позволяли себе приходить в отчаяние, а продолжали войну и, несмотря на все прежние испытанные ими поражения, внезапно наносили врагу решительный удар в конечной битве и выходили победоносцами»²⁵.

И еще о том же у святого Исаака Сирина: «Умудриться человеку в духовных бранях, познать своего Промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него – невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания»²⁶.

Притча

Просится на бумагу такая притча. Был в некоторой стране один удивительный человек, весьма знатный и богатый. Но сколь богат он был, столь же и добр; насколько милостив, настолько и мудр; сколько рассудителен, столько же и справедлив! И имел он такой странный обычай: собирал к себе в дом многих детей-сирот, обучал их разным знаниям-премудростям, умениям-рукоделиям, делам-благodeяниям и тому подобному. И когда уже подрастали они, крепко на ноги становились, мудрости да сил набирались, к поприщу житейскому и к разного рода браням на нем уготовлялись, тогда добрый наставник, наставив в последний раз и благословив на этот дальний путь жизненный, с миром отсылал их. Но не так, чтобы уже не пещись о них: имея много знакомых и будучи всюду весьма почитаем, он устраивал и дальнейшую судьбу своих пасомых, обговаривая и испрашивая им место деятельности на будущее, сообразуясь, конечно, с сердечным расположением и особенностями характера каждого из детей. Известные горожане с радостью брали на службу в свои имения и на свои предприятия этих воспитанников, заранее зная об их добросовестности и умелости в работе, верности и порядочности. Так тот удивительный человек все делал хорошо и весьма добропорядочно.

Но имел сей благой человек и еще один мудрейший обычай: каждый раз перед тем, как отпустить от себя очередного воспитанника, устраивал он ему некий экзамен, ничего еще не говоря о предстоящем путешествии. Незадолго до окончания обучения давал наставник своему пасынку чистую рисовальную доску, цветные мелки и просил изобразить то, что больше всего запомнилось, ярче всего запечатлелось в душе его, более прочего полюбилось сердцу детскому в этом доме, где он прожил в таком покое и радости эти годы. И каждый отрок рисовал именно то, к чему склонилось сердце его, что было в характере его главной чертой и чем более всего увлекся ум его. Один рисовал сад, цветы и фонтан в саду, павлинов и других

чудесных птиц, населявших красивейший сад тот. Другой рисовал лошадей и игру с детьми, игру, которая бывала так весела и беззаботна на лужайках прекрасной усадьбы, где они так дружно жили под надежным покровительством своего доброго попечителя. Третий изображал самого себя в изящных одеждах, в которые одевали его здесь, с какой-нибудь из любимых игрушек, в которых также не было в том доме недостатка. Кто-то рисовал празднично убранные комнаты или щедрую трапезу приюта: красивую посуду, разные угощенья, изысканные блюда, подававшиеся в праздники на стол, и тому подобное.

И вот мудрый хозяин, внимательно рассматривая эти рисунки, безошибочно определял наклонности детей и выбирал для них место и род занятий в самостоятельной их жизни. Так он устраивал их дальнейшую судьбу. Но вот еще что! Некоторые дети – правда, весьма, весьма немногие – рисовали не что-либо, не кого-либо иного, как самого своего доброго и милостивого благодетеля, рисовали с чувством глубокого умиления и старались отразить на рисунке все его самые лучшие черты. Иной же раз они даже подписывали эти изображенные красками настроения трогательным словом, порой сочиняли стихи. В общем, они чаще всего выражали следующее: «Мы, дорогой отец наш, самый близкий и родной для нас человек, тебя одного любим больше всего на свете. Все доброе, что мы здесь видели, тем только и было хорошо, что в нем отражались твоя доброта и благодать, что оно исходило от твоего любящего и милующего сердца. И мы всегда будем помнить и любить не вещи эти, не одежды, яства и красоту дома твоего, а прежде всего тебя самого. И что пользы от красоты и приятности вещей, если за ними не стоит добрый и милостивый их дарователь?». И многое еще было в этих благодарных излияниях душ. Вот таких-то воспитанников мудрый и предусмотрительный домовладыка как раз и отличал особенно, таких он как раз и искал, как самых благорассудительных, добросердечных и великодушных, – тех, кто умел избирать главное, отодвигая второстепенное, ценою же второстепенного определять цену наиважнейшего. Таких чад

своих этот богатый и знатный человек оставлял при себе уже навсегда, усыновлял их и готовил к наследованию всех благ своих...

Вот так и вся наша жизнь: не та же ли рисовальная доска с цветными мелками? Изобразим по сердцу своему картину – время сотрет ее одним легким движением, как влажной губкой, от нашего рисунка останется лишь расплывчатый белесый след, и тот забудется, сотрется. Будут подходить другие ученики, теми же мелками рисовать на доске свои картины... Но когда-то сказанное, запечатленное, казалось, на миг, даже будучи стерто, не исчезает бесследно. Видит Господь Своим премудрым, всевидящим оком каждый штрих, каждую деталь, все помнит, всему знает истинную цену. Выраженное в этой промелькнувшей во времени картине определит все наше будущее, наше положение в вечности навсегда – навсегда, на веки вечные!

Кто избирал лишь земное, преходящее, им одним утешался, Богу молился лишь о временном, тот и получает «блага» только здесь, где и искал. В вечности же он избрал нищету.

«Другой подает милостыню, – говорит авва Дорофей, – для того, чтобы спастся его корабль, и Бог спасает корабль его. Иной подает ее за детей своих, и Бог спасает и хранит детей его. Другой подает ее для того, чтобы прославиться, и Бог прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает, если только это не вредит душе его. Но все сии уже получили награду свою, и Бог ничего не должен им, потому что они ничего душеполезного не искали себе у Него, и цель, которая была у них в виду, не имела отношения к их душевной пользе. Ты сделал это для того, чтобы благословилось поле твое, и Бог благословил твое поле; ты сделал сие за детей своих, и Бог сохранил детей твоих. Ты сделал это, чтобы прославиться, и Бог прославил тебя. Итак, что же должен тебе Бог? Он отдал тебе плату, за которую ты делал.

Иной подает милостыню для того, чтобы избавиться от будущего мучения: этот подает ее для пользы души своей; этот подает ради Бога, однако же и он не таков, как хочет Бог, ибо он

еще находится в состоянии раба, а раб не добровольно исполняет волю господина своего, но боясь быть наказанным: так же и сей подает милостыню для того, чтобы избавиться от мучения, и Бог избавляет его от оно́го. Другой подает милостыню для того, чтобы получить награду: сей выше первого, но и этот не таков, как хочет Бог: ибо он еще не находится в состоянии сына, но, как наемник, исполняет волю господина своего, чтобы получить от него плату и прибыль: также и сей подает милостыню для того, чтобы приобрести и получить награду от Бога... или делаем доброе ради самого добра, и тогда находимся на степени сына, ибо сын исполняет волю отца не из страха и не потому, что хочет получить от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его»²⁷.

Ощувивши пламень, беги!

Никто не должен медлить на пути сей жизни, дабы не потерять места в Отечестве. Никто не вмешивай замедлений в добрые желанья, но всякий совершай начатое, дабы исполнить то, что начинается. Святитель Григорий Двоеслов²⁸

Монашество – особый путь, здесь правила иные, чем где бы то ни было в других областях жизни. Если везде прилично и похвально «скромничать», «уступать дорогу», «отдавать лучший кусок» другому, то здесь не так! Здесь – беги вперед что есть мочи, хватай «лучший кусок», не задержись с тем, кто тянет и отстаёт. Видишь, что все медленно идут или блуждают и ищут обходные пути, – ты беги, оставляя их собственному их выбору. Ведь во всем уступают лучшее другому те, кто взыскивает большего, но не так в самом вопросе любви, в том, что непосредственно касается любви: здесь ревнуют, соревнуют, соперничают и стараются опередить. *Бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить²⁹*. А праотец Иаков, хитростью отнимающий у брата первенство, борющийся с Богом? Моисей, требующий видеть лице Божие? Елисей, выпрашивающий у пророка Илии сугубую благодать? Братья Зеведеевы, просящие Господа посадить их в Царствии Славы по правую и левую сторону Его престола? Какие все «нескромные», дерзновенные поступки! Но в деле любви не обойтись без горячности. Иов Многострадальный так дерзновенно и как будто даже с вызовом беседует с Богом и ищет от Него разъяснения своей беды, в то время как его друзья беседуют «сдержанно» и «смирненно» о судах Божиих. Но именно в Иове говорит живое чувство, любовь к Богу, а в его друзьях – какое-то холодное «торгашество» с Богом. И Иов более благоугоден Богу, а его друзья при всей своей рассудительности должны просить молитв о себе у Иова, так, кажется, смело и дерзновенно рассуждавшего о судах Божиих.

«Поспешая к жизни уединенной, или странничествуя, не дожидайся миролюбивых душ, ибо тать приходит нечаянно.

Многие, покусившись спасти вместе с собою нерадивых и ленивых, и сами вместе с ними погибли, когда огонь ревности их угас со временем. Ощувивши пламень, беги, ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме»³⁰.

Мы теперь часто ошибаемся, когда думаем, что главное, от каждого из нас требуемое, – это помочь спастись окружающим нас людям. Мы как будто готовы многим жертвовать, весьма нам самим необходимым, дабы подтолкнуть к вере ближнего. Но это чаще всего демоническое искушение, которое многим сковало руки и ноги, заставило их замедлить на пути к Богу в ожидании тех, кто как будто тоже собирался идти с ними (но так и не собрался). Многие под таким благовидным предлогом отвлеклись от бодрого шествования, задержались в этих сборах и воодушевлениях толпы, наконец забылись и потеряли интерес к самому путешествию. «Ощувивши пламень, беги!». Сначала человек должен бежать и преодолевать препятствия, должен ревностно прорываться сквозь вражеское окружение и бесчисленные опасности и, лишь достигнув прочного и надежного положения, иной раз может обернуться осторожно и протянуть руку ищущему помощи. Мы подобны людям, упавшим в глубокий ров: дается еще возможность, ухватываясь за редкие корни, выступающие из скал, и осторожно перемещаясь с уступа на уступ, медленно, с опаской выбираться наверх, к жизни на просторе. И только выбравшийся на ровное место, крепко держащийся за ствол дерева может опустить вниз веревку и вытаскивать кого-то просящего помощи. Но какая беда, если, сделав всего несколько жалких потуг и едва на метр вскарабкавшись на скалу, начнем уже тянуть кого-то следом за собой!

Современное человечество находится в самом жалком духовном состоянии, души наши изъязвлены и изъедены червями страстей до предела. Дается еще удивительный шанс – удалиться от беснующегося мира в монастыри, жить в относительно изолированных от всеобщего беснования местах, находить некоторый малый покой и охранение от внешних поводов ко греху. Для многих из нас это – единственная возможность выжить, не сгореть в седмижды разжженной печи

современного Вавилона. Господь дарует нам еще эту чудесную прохладу и укрепляющего нас Ангела, чтобы мы, подобно отрокам вавилонским, воспели песнь смиренную и покаянную. Но мы, безумно возмечтав о себе, порываемся выйти из прохлады в самое пекло, думая своим искусным словом и звонким голосом увлечь за собой как можно больше людей, сделать их причастниками той же милости, что явлена нам. Но как много увлекшихся спасением погибающих сгорает в том безжалостном пламени!

«О спасении других не все подлежим ответу, – говорит святой Иоанн Лествичник, – ибо божественный апостол говорит: *темже убо кийждо нас, о себе слово даст Богу*³¹. И опять: *научая убо инаго, себе ли не учиши?*³². Как бы сказал: все ли должны мы пещись о других, не знаю; о самих же себе всячески должны мы заботиться»³³.

«Когда мы, на год или на несколько лет удалившись от своих родных, приобретем малое некоторое благоговение, или умиление, или воздержание, тогда суетные помыслы, приступивши, побуждают нас опять идти в отечество для назидания, говорят, и примера, и пользы многих... а если мы еще богаты даром слова и имеем сколько-нибудь духовного разума, тогда уже, как спасителям душ и учителям, советуют они нам возвратиться в мир, с тем, чтобы мы благополучно собранное в пристанище бедственно расточили в пучине»³⁴.

Мы сегодня по большей части – люди «головные», «говорливые», но «бессердечные». Голова и язык действуют у нас активно и любую информацию быстро схватывают, усваивают, перерабатывают и тут же выплескивают на ближнего. Однако сердца наши работают туго, все на одно направлено – на страстное и сладное, дебелое, а на духовное и возвышенное никак не хотят отзываться сочувствием. Сколько бы голова ни рисовала возвышенные образы, сердце все знает только высматривает там что-нибудь свое – поблажающее самости, и чтобы оно было все как-нибудь от мира сего. А если что высоко и к этой жизни земной неприложимо, то уже и неинтересно ему. Потому-то все нас перетягивает на деятельность внешнюю – слышать, узнавать и самим говорить.

Так и идет вся наша псевдорелигиозная жизнь: входят возвышенные и святые понятия и мысли через слух и зрение, немного покрутятся в нашей голове – и тут же просятся на язык и наружу, чтобы ближнему продемонстрировать наши тонкие знания и разумения. А что в самих наших душах творится – до того нет нам дела. Сердца наши так и остаются какими-то темными чуланами, где каких только грызунов и пресмыкающихся нет, где сырость, плесень и гниль, и редко-редко кто из нас спускается туда со свечой и наводит там порядок...

В самом монастыре должен ли наставник, духовник, тянуть «силком» своих подопечных в гору? Если сам он желает идти скоро, а большинству вокруг желается просто посидеть в тишине на природе, нужно ли ему тратить много сил на то, чтобы постоянно всех подымать и заставлять спешить? Но так он сам никогда не сможет совершенствоваться в духовной жизни. Тогда все останутся у берега, не смогут плыть в открытое море, как бы веревкой связанные один с другим и, наконец, с причалом. И сегодня тем более не время кого-либо долго упрашивать: корабль сел на мель, волны разбивают последние крепления судна и каждый, как может, скорее бросается в воду и плывет к спасительному берегу. Здесь уже не упрашивают: «Не хочешь жить – как знаешь, оставайся, а нам жизнь дорога».

Как удивительно: в монахах ценится постоянство. Как много предостережений у отцов против переходения из монастыря в монастырь или оставления места подвижниками! Возводится в строжайший закон всегда пребывать на том месте, где дал обеты монашества. Но в то же время не многие ли отцы переходили по многу раз, казалось бы, из самых удобных мест? Почему? Да потому, что искали большего и большего! Снова и снова «брали старт», извлекали новый и новый опыт и стремились выше и выше. Всегда без оглядки спешили вперед, боялись того, что замедляло, а если кто искал их помощи и поддержки, должен был сам гнаться и поспешать. Иначе монашество из живого ручья превратилось бы в стоячую лужу. Говорил апостол Павел: *забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия*³⁵. Как раз

тот, кто впереди идет, не должен часто озираться, не должен терять из виду главное, но усиленно вглядываться туда, где ближе всего к нему Бог, должен Его единого искать прежде всего. Если же начнет устраивать тех, кто пристроился к нему с тылу, то сам повернется к Богу спиной. Лучше знай делай свое дело – спасай душу свою, спеши к *почести высшего звания*. Таким только образом действительно поможешь кому-нибудь, не иначе!

Но мы сегодня как раз потому только переходим с места на место, что бежим от главного, простого и возвышающего и ищем многосложного, многозаботливого, – того, что поближе к миру сему, попросторнее в нем. Поначалу стремимся в высоту, иной раз и забираемся повыше, а затем опускаем руки и долго скатываемся под гору. Итак, «ощутивши пламень, беги!».

О! Если бы войти в ту дверь...

Иной раз видится так: монастырь с внешней стороны – одно, и совершенно иное, когда вступишь на путь самой монашеской жизни и действительно будешь идти по этому пути, уходя все дальше и дальше вперед. Сама монашеская жизнь – это какой-то подземный, темный лабиринт, узкий, весьма труднопроходимый, тесный, прискорбный, словно глубоко под землей проложенные коридоры катакомб со многими спусками и подъемами, полные неожиданных опасностей и препятствий; или узкая, малохоженная тропа в густой чаще леса, со всех сторон открытая для всевозможных неожиданностей, пугающая нападениями диких зверей и жестоких разбойников. Это – главная часть монашеской жизни. Но у этого многострадального мира есть и свой вход. Так у древних амфитеатров, в которых происходили жестокие, кровопролитные сражения гладиаторов с дикими зверями или казни, где нередко завершался и мученический подвиг христиан, обреченных на встречу с кровожадными хищниками, – у входа возводился роскошный павильон или изящно устроенная галерея со стройными мраморными колоннами, с витражными окнами, резными седалищами, с уютными балконами, залами для отдыха, с садами и фонтанами, увешанные картинами, изображающими сражения и триумфы победителей, воодушевляющими на подвиг. Оттуда слышалось пение, в воздухе носились приятнейшие ароматы цветов и ладана, многое располагало к покою и размышлению о великом и прекрасном. Но как тогда, так и сейчас для нас этот «парадный вход», так внушительно обставленный и украшенный со всей роскошью и величием – только приглашение, только зов на подвиг, только призыв потрудиться, пролить кровь, расточить свое богатство, несправедливо стяжанное, ради того, что ждет там, в конце, – по благополучном завершении подвижничества, после многотрудного путешествия по сложному лабиринту испытания, искушения нашей веры и любви, нашей самоотверженности и отреченности от мира сего. Этот торжественно убранный зал с

поучительными изображениями и многозначительными символами, это торжественное, точно неземное, возвышеннейшее пение, сладчайшее благоухание фимиама, напоминающее воздух райский, уносящийся в небо радостный колокольный перезвон – ведь все это только отблеск неба на земле, только отражение, только указание на то, что там – в конце пути – для тех, кто решится и пойдет до конца. Но кто из нас идет дальше этого парадного входа? Кто входит в эту таинственную дверь и решается идти в глубь темного коридора? А если кто и входит и осмеливается несколько углубиться, то вскоре уже, испугавшись темноты или холодного дуновения, таинственных шорохов, одиночества, а более всего влекомый разного рода привязанностями к тому, что осталось позади и должно быть уже навсегда погребено за той дверью, угрызаемый какой-то многосложной тоской и скукой, как будто вспомнив, либо что забыл еще что-то взять с собой крайне необходимое в дороге, либо что не успел еще с кем-то попрощаться перед своим дальним путешествием, – спешит назад. И вот, мы так и толчемся в этом «зале ожидания», в парадном вестибюле, по-разному объясняя свое промедление, из-за которого не начинаем путь. Редко кто все-таки войдет и будет идти в этом полумраке, лишь угадывая где-то далеко впереди слабые отсветы проходов, воодушевляемый верой, укрепляемый надеждой достичь того, чего здесь, на земле, и вообразить себе нельзя. Но нет уже той решимости у нас, той горячности сердечной: мы чаще всего так и остаемся навсегда в этой прихожей, разговаривая о том о сем, попиваем чаек, отдыхаем на балкончиках, любимся земными цветами, земными садами и многозначительно приводим цитаты из книг, рассказывающих о том, что бывает там – в конце, если открыть вот ту дверь и пойти туда и идти долго, долго. Мы даже удивленно поднимаем брови и стараемся придать лицу особенно серьезное выражение, когда читаем о том мире. Но вскоре уже опять принимаем вялую позу, беззаботное выражение, зеваем и вдруг рассказываем какую-нибудь совсем уж смешную историю, не имеющую никакого отношения к тому, почему мы здесь. Так и живем изо дня в день, из года в год; даже поем о том мире,

читаем, молимся, кадим, пишем иконы, до блеска трем церковную утварь – в общем, делаем многое, чтобы сохранить память и знание о том прекрасном мире, который отделен от нас этим долгим, узким коридором...

Где мы находимся?

Авва Дорофей пишет: «Мы подобны людям, которые, имея намерение идти во Святой град (Иерусалим) и выйдя из одного города, некоторые прошли пять верст и остановились, другие прошли десять, иные совершили и половину пути, а иные нимало не прошли по нем, но, выйдя из города, пребывают вне ворот, в смрадном предместье его. Из тех же, которые находятся на пути, случается, что некоторые пройдут две версты и, заблудившись, возвращаются, или, прошедши две версты вперед, отходят пять назад; другие же дошли до самого города, но остались вне его и не вошли внутрь города. То же бывает с нами; ибо некоторые из нас оставили мир и вступили в монастырь, с намерением стяжать добродетели; и одни сделали немного и остановились; иные больше, а другие совершили половину дела и остановились; иные вовсе ничего не сделали, но думая, что вышли из мира, остались в мирских страстях и в злосмрадии их; иные совершают немного доброго и опять разоряют это; а некоторые разоряют и более того, что совершили. Другие же хотя и совершили добродетели, но имели гордость и уничижали ближнего, а потому не вошли во град, но пребывают вне его. Следовательно, и эти не достигли своей цели; ибо хотя они дошли до самых ворот града, но остались вне его, а потому и сии не исполнили своего намерения. Итак, каждый из нас должен замечать, где он находится; вышел ли он из своего города, но остановился вне ворот в смрадном предместье его; или прошел мало, или много; или достиг до половины пути; или идет две версты вперед и две назад; или дошел до града, но не мог войти в него»³⁶.

А мы, выйдя из города, сели у ворот и с наслаждением обоняем смрад, исходящий из-за стен его. О «Иерусалиме», кажется, и вовсе уже позабыли, забыли и о том, ради чего вышли из злосмрадного того града, не помним, куда намеревались идти. Может быть, нам и желалось только немного свежего воздуха и мирной деревенской простоты, сельского простора и тишины и лишь обманывали себя и других,

что выходим из града путешествовать в Иерусалим? Мы выдумали уже: «Только живи в монастыре, только не возвращайся в мир, только не согреши тяжко, живи здесь как-нибудь – и этого тебе достаточно, ты избежишь ада». А то и так: «Ну, про блаженства не дерзаем помышлять: лишь бы в аду не мучиться». Но это все только самообман, ложное смирение – на самом деле только боязнь труда, удаления от любимившегося мирского и страстного, страх перед дальним странствованием. Святой Златоуст говорит: «Многие безрассудные желали бы только избавиться геенны, но я считаю гораздо тягчайшим геенны наказанием не быть в той славе; и тому, кто лишился ее, думаю, должно скорбеть не столько от гееннских мучений, сколько о лишении небесных благ, ибо это одно есть тягчайшее из всех наказаний»³⁷.

Мучение любви

Отречение Петра: *Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра...*³⁸ Петр, при всем замешательстве своем, заметил это: взор Учителя и Господа проник в его сердце. Казалось, он снова слышит роковое предсказание: *прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды*³⁹...

Не образ ли это Страшного суда? Не так ли взглянет на нас Христос с болью, с укором, с кротостью и вместе с сожалением? Вот и весь Суд! Теплый, светлейший взор, полный любви и скорби, – как он будет страшен, мучителен сердцу, предавшему эту любовь! Душа сама тут же вспомнит все – сколько раз, где и когда предавала она. Вот они и «книги судные», вот и «свитки» с перечнем грехов, вот и огонь сожигающий, и червь неусыпающий, и холод тартарский...

«Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания... И вот, по моему рассуждению, гееннское мучение есть раскаяние»⁴⁰.

Троекратное пение петуха! Троекратное отречение! Еще не рассвело, еще только приближается крестный день испытания веры – Страстная Пятница, еще только предрассветные напоминания о грядущем дне Страшного суда, грозных событий, пока еще ночь... Впереди у человечества еще тяжкие искушения, соблазны антихристовы, еще сколько должна испытываться вера православная... А мы, греясь у костра, разнеживаясь теплом обманчивого сиюминутного покоя, уже не трижды, а многожды отвергли Христа, продолжаем отвергаться...

И вот, после зова ангельской трубы на рассвете восьмого дня скажут безмолвно святейшие очи – скажут кротко, тихо, скорбно: «Ты отвергся Меня», и отвернется от нас

Божественный лик. Вот и все! Но какой суд страшнее этого? Что может быть больней?

Душа, душа! Все-то ты тогда припомнишь! Когда теряем близкого человека, как тогда проходит перед очами памяти сердца все плохое и горькое, что когда-либо сказали, сделали ему! Как жжет, режет душу всякое такое воспоминание, протягивается через сердце, как нить с жесткими на ней узелками, рвет, мучит душу: «Зачем, зачем я это говорил? Зачем я это делал?». Эти вопросы, как пиявки, сосут из сердца всю жизнь, выедают мир, все хорошее, раздирают на части весь состав душевный, само тело иссыхает, томится. И это бывает уже теперь...

Помнить, помнить этот взгляд на Петра. Не смерти надо страшиться, не ада, а того вот, как на Петра, кроткого взгляда!

Без страха

Мы все как будто хотим любить Господа, но нам все как-то «некогда». Мы все желаем молиться Богу, но все время что-то надо еще доделать. На самом деле мы ищем лазейку, чтобы убежать от молитвы и других трудов, требующих самоотвержения, так как это самое нелегкое для нас занятие. Это ведь борьба, это распятие. А как жаль себя! Какое это уже неслыханное геройство сегодня – распяться в молитве, какая редкость! Почему же так невыносимо трудно стало сегодня молиться? Ясно почему: этот мир – старый колдун, он пристально вглядывается в нашу душу немигающим взглядом, манит гипнотической силой, настойчиво влечет в свою паутину. Видит, чувствует он все тонкие ниточки, тянущиеся из нашего сердца; все эти страсти и страстишки, хотения, похотения, желания, привязанности – все эти паутинки, протянутые к лапам паука; и мы липнем, все более затягиваемся в его петли и путы. А паук набрасывает петлю за петлей, манипулирует этими ниточками, обходит свои жертвы, проверяет, не ослабели ли узы, бойко ли еще противится жертва, и опять налагает петли и узелки. Под «гипнозом» мира мы сами идем медленно в змеиную пасть. Большой опыт у врага – отводить нас от Бога и ото всего богоугодного. Как рвануться, где отыскать в себе этот порыв, рывок – прочь от пасти драконовой? Как не охладеть совсем, не потерять последние остатки трезвости, не отдаться омрачению, расслабляющему, опьяняющему дурману гипнотического усыпления, не подклониться под негу греховной сладости – отскочить от приближающегося смертельного укуса? И как настырно, нагло, властно налезает эта холодность, эта животная нега, за ней – ленивое безразличие, предательское расслабление и тупое одебеление всех чувств и мыслей! Будто огромная холодная змея ледяными объятиями плавно захватывает тебя в свои жесткие кольца: вырвешь из этих смертельных объятий ногу – они уже обжимают руку, тащишь руку – объятия уже сдавливают поясницу, настойчиво приближаются к самому сердцу: вот рядом уже и пасть с

ядовитыми зубами... И всюду кругом все – в этих страшных объятиях; да и борется ли кто? Скорее всего, уже почти все люди послушно, с остекленевшими от колдовских внушений глазами бредут нескончаемой толпой в огромную разверстую пасть. Если кто и опомнится, рванется, закричит, толпа его сомнет и увлечет за собой. Иногда говорим хорошие, правильные слова, как будто все понимаем, хотим вырваться, убежать, но почему-то все так же движемся в той же покорно бредущей толпе, по-прежнему сами влечемся все в ту же пасть. И даже кажется таким обычным, таким знакомым, таким естественным – идти, идти и провалиться в какую-то там впереди тьму, куда валятся все впереди идущие. А вырваться, побежать с криком – это вроде бы вызывающе, как-то странно, неестественно. Самое страшное, самое ядовитое – это гипноз всей толпы, целого мира, когда тысячи тысяч людей с невозмутимыми лицами сползают в пропасть и еще мило тебе улыбаются, что, мол, все хорошо и бояться нечего. И так – все, все: безо всякого страха, без воплей, без взываний о помощи. И как сильно надо скорбеть о приближающейся смерти, о Страшном суде, о том, что все – сплошная трагедия вокруг нас, что все эти толпы гибнут, и гибнут страшно, ужасно, идут в ад, в муку вечную идут каждый день тысячи тысяч людей. А мы что же, все улыбаемся? Ищем мир, покой здесь?

Полужизнь, полусмерть

Мы думаем спастись «как-нибудь», «мимоходом», «между прочим», как мы делаем множество других скучных, но необходимых или полезных дел. Или, лучше сказать, вся наша церковная и христианская жизнь нами воспринимается как средство для некоторого душевного умиротворения, то есть, по сути, как некоторое «снотворное», усыпляющее надоедливую червячка – нашу беспокойную совесть, но чаще как какой-то оброк или дань, которые необходимо выплачивать в назначенный срок, дабы иметь право на беззаботную жизнь в остальное время. Даже распространилось в прошлом веке выражение (когда речь шла о говении, исповеди и Причастии): «исполнить долг христианский». Исповедаться, сподобиться Святого Причастия – долг?! Ты был голоден, умирал от истощения, весь был в гнойных струпьях, тебя позвали в царские палаты, омыли, умастили раны бальзамом, очистили твою одежду, напители, угостили вином, сам царь заботился о тебе, и ты, вышедши, сказал: «Я пошел туда, чтобы выполнить свой долг перед царем, теперь совесть моя спокойна, и я могу с мирным сердцем опять лазить по помойкам и валяться в грязи». Так, что ли? Нет, такой «торг», такие «сделки» с Богом – это богохульство и святотатство. Такие «авось-небось», «дружба на крайний случай», «страховка на черный день» могут пройти везде, во всех земных делах, только не в области Любви. В сфере Любви теплохладность отвратительна. Тот, кто жаждал быть горячо любимым, встретив вместо пламенной любви лишь некую теплотность, вместо горячих чувств – холодный, практический расчет, скорее всего, с болью и горечью, а то и с гневом отвергнет такую «любовишку». В деле Любви – или все, или ничего. *До ревности любит дух*⁴¹. Гость не в брачной одежде, изгнанный с пира во тьму кромешную⁴², именно тот, кто желает полакомиться у праздничного стола, но не ощущает, не понимает всего величия и торжественности происходящего. Он пришел не за тем, чтобы породниться с живущим в доме, не из любви к дому, не затем, чтобы стать в нем работником,

наемником или усыновиться, пришел только купить за пятак сладкий пирожок. И мы приходим так!

...Наткнулся недавно случайно на одну «пятидесятническую» песню. «Пятидесятники», конечно же, вложили в нее свое болезненное, гордое разгорячение, но слова эти, если произносить их со смирением, делая как можно меньше ударение на «я» (лучше б этого «я» здесь вообще не было), слова все-таки хорошие и близкие духу христианства:

*Я не хочу полуправды,
Жалких, слепых объяснений,
Я не хочу полутайных,
В сердце погасших стремлений.
Я не хочу полуверы,
Я не хочу полуцели:
Пусть разбиваются струны –
Лишь бы не даром звенели.
Я не хочу полужизни –
Жалкой, бесцельной, послушной;
Я не хочу полусмерти –
Тяжкой, несмелой и душной...
Если любить – то навеки,
Если принять – то всецело,
Так, чтобы пламенем ярким
Сердце победно горело!*

Конечно, кто может это сказать от своего имени? Вот она, гордость «пятидесятническая»! Но, действительно, все эти «полу...» – как они отравляют, как подтачивают, парализуют всю жизнь нашу! Только для целостности необходимо опять самоотвержение, безжалостность к себе, подвиг. Прежде всего возненавидеть во всем как раз это свое «я». Чтобы не было «полу», надо отсечь то, что не дает прийти целостности. Вот почему не может быть христианства без подвижничества! Подвижничество – отсечь связывающее тебя, отнять у себя, чего-то лишиться, что-то вырвать, отбросить, удалить от себя. Это всегда – облегчать корабль, бросая за борт очень многое, часто даже кажущееся весьма нужным. Это – обнищать: *ни сумы на*

*дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха*⁴³. Ведь именно «любвишки» обворовывают нашу Любовь.

Смотрите за собой...

Есть вера, как пламень, горячая, живая, которая и светит, и обжигает, и пополяет. А есть, как тлеющие угли, почти не дающая ни света, ни огня, но только малое тепло. Монашество – это горение, это пламень и сияние. А христианство в миру по большей части как те угли тлеющие. Но ныне и монахи, и все христиане едва-едва еще удерживают в себе тепло огня. Все мы уже полумертвы. Кто подложит сухих щепок, раздует в наших сердцах пламень любви к Богу? *Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, суетная глагола кийждо ко искреннему своему*⁴⁴.

Нам почему-то скучно в христианстве, мы спим тяжким сном уныния, мы опутаны ленью и расслаблением. Мы могли бы быть бодрыми и резвыми для мира и дел его – для небесного мы расслаблены, тяжелы, неуклюжи и непонятливы; нам в церкви все как-то тягостно, неудобно, не по себе. Так какой-нибудь простак из деревни, всю жизнь прокопавшийся в земле и оказавшийся в городе, решивший приобщиться к жизни горожан, покупает билет и идет на концерт, где в течение нескольких часов вынужден слушать какую-то оркестровую классическую музыку. Все вокруг внимают каждому звуку, аплодируют, выражают восторги, все оживлены. А бедный простак не знает, куда деться, ему кажется, что играют все одну и ту же скучнейшую, заунывную музыку, он уже весь изъерзался и не знает, как же вырваться из этого плена. Ждет не дождется конца всему этому, почти что плачет. Уже он перебрал в уме все свое хозяйство: несколько раз перекопал и засадил огород, передоил всех своих коров, «перебрал косточки» всем соседям, а эти все чего-то там «пиликают и пиликают» на своих занудных скрипках.

Не так ли и мы теперь? В храмах поется и читается высочайшая поэзия, все христианское учение исполнено глубочайших, прекраснейших образов, ведущих людей к Самой Истине: служба, пение, иконы, само благолепие храмов несравненно превосходят все мирские искусства. Те идеи, те

мысли и чувства, которые воспевают мир в своей поэзии или на своих сценах, те идеалы и красоты, которые он живописует или рекламирует, – какая все это жалкая пошлость, какой примитив и прах! А люди спешат на эти концерты и выставки, платят большие деньги, стоят в очередях, чтобы попасть туда и приобщиться к сумбурному хаосу каких-то звуков или красок, воплощающих, выплескивающих, чью-то истерику, уродливые, патологически болезненные надрывы какой-нибудь глубоко погрязшей в страстях души. И это привлекает, развлекает, стимулирует, возбуждает интерес жить?! В храмах же мы не знаем, куда деть себя, чуть ли не теряем сознание от изнеможения и от нетерпения скорее вырваться и убежать в веселый круговорот своих мелких, суетных делишек. Здесь все ликует, зовет ввысь, к той красоте, какую только можно было бы пожелать, а мы, как домашние отяжелевшие утки, даже ни одним крылышком не можем помахать, а лишь кряхтим и прижимаем погрузневший зад к земле. Не то что летать, а даже и стоять-то нам крайне обременительно, и мы пристраиваемся в храме поближе к какой-нибудь скамеечке. Вот она, «апостасия»⁴⁵! Предупреждал Господь: *Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими*⁴⁶. Но мы недосмотрели за собою! Мы имели неосторожность забрести в болото, увязнуть в трясине, не проявили усердия и заботы о своей душе, дабы приложить все усилия и использовать все средства, чтобы выкарабкаться из этой тины, засасывающей гнили, мы даже стесняемся громко кричать, чтобы позвать на помощь. Человеческий мир, как замороженная змеей лягушка, сам медленными шагами идет в разверзтую пасть чудовища, глупо ухмыляясь и даже истерически приплясывая. Он как будто отравлен усыпляющим наркотическим газом, и все люди постепенно засыпают и даже сладко потягиваются и улыбаются во сне, в то время как разбойники, готовые начать свой кровавый грабеж, уже держат в руках ножи и мешки. И мы «сладко» спим!

Все мертвее и мертвее в этом умирающем мире. «Бледный всадник на бледном коне»⁴⁷ делает свое «бледное» дело!..

Все холоднее

Огонь – очень подходящий образ для описания действия благодати Божией в человеке: как огонь прикасается к дереву, согревает его, затем воспламеняет и становится как бы одно с горящим веществом, превращая его в свет и жар, так и души человеческие от прикосновения и объятия благодатью. До воспламенения предметы как бы противятся огню, преграждают ему путь, но, разгоревшись от жара пламени, начинают питать огонь, делаются сами огнем и усиливают его горение. Сами эти разные предметы, объятые огненным жаром, уже не разделяются с пламенем, но превращаются с ним в единое целое, как будто, отбросив все свое, отдаются единому процессу горения. Так ведь и люди, приявшие в души свои огонь благодати Божией, приобщившись Божеству, становятся с Ним как бы одним целым, сияют одним сиянием, в то же время не теряют ничего личностного, не перестают быть самими собой. Так золото или серебро, железо или бронза, раскаляясь в огне докрасна, добела, наполняются жаром и сиянием так, что уже кажутся сами огнем, сверкают, искрятся, опаляют и сжигают все, к чему прикоснутся, как будто сами они уже только огонь; однако, изъятые из огня, они остались бы все теми же металлами. Так и обожженный человек будет, как Бог, хотя и останется человеком. Огонь проникает в вещество, воспламеняет его, делает огнем лишь тогда, когда находит в нем нечто сродное себе и готовое воспламеняться; но прежде высушивает влагу и все противящееся горению, тяготеющее к остыванию; все это бежит от лица огня, и только по удалении всего несродного себе он нагревает и зажигает вещество.

Так и благодать Духа вначале готовит человека, очищает от мудрования века сего, от плотских настроений и вожделений, ото всей этой чувственной «мокротности», «влажности» похотений, и только после этого огонь благодати может охватить душу человека. Как огонь удаляется от предметов, лежащих в воде, пропитанных влагой, так и благодать удаляется от тех, кто погряз в грехе или в суете мира, в земных заботах, пропитан

влажностью плотских похотений, отягощен помыслами о дольнем. Но как от жаркого пламени горящего костра все скоро высушивается и легко воспламеняется, так и около святого человека, горящего благодатной любовью к Богу, стяжавшего огонь благодати Святого Духа, скоро многие души человеческие согреваются, высушиваются от влажности страстей и наконец воспламеняются сами тем же благодатным огнем, начинают излучать тепло и свет, передают искру другим, близстоящим. Так много раз в истории спасающегося человечества возгорались отдельные светильники – некоторые великие отцы, которые как бы «прорубали окно» из этого омрачившегося мира в просторы неба, и оттуда изливалось на них ярчайшее сияние духовного Солнца. От этого светильника все вокруг освещалось и разгоралось на многие годы; возносились через открытый ими путь к небу тысячи воспламенившихся душ, пока холодность и влажность мира опять не студили, не заволакивали этот светлый проем. Так иной раз в ночную грозу ударит сверкающая молния в высокое дерево в лесу, воспламенит его – и вот оно пылает и светится в ночи, само превращается в свет, запалывает близстоящие деревца и кусты, пока дождь и влага не отнимут пищу у огня.

Но как трудно промерзшему путнику в сырую осеннюю пору, в период затяжных унылых дождей разжечь в лесу костер! Так и в наше грехолюбивое, жестокосердое время нелегко найти свободное от влаги, способное к горению божественной любовью сердце. Как мокрые дрова только тлеют, чуть обгорают по краю, дымя от приближения огня, ни света, ни тепла не давая, лишь погашая подносимый к ним огонь, так и теперь многие, многие души не желают впустить в себя осушающее тепло, изгнать из сердец влажный холод, воспринять дарующий жизнь огонь. Как будто уже во всем земном доме человечества не видно огня, всюду холод, сырость, озяблость. Где-то в темноте, в каком-то дальнем углу вспыхнет огонек, затеплится вдруг огарок свечи – кто-то там пытается разжечь печь. Слышно, как он дует на слабо тлеющие угольки, заваленные сырыми поленьями, слышится горький запах дыма, от которого кружится

голова, но огня и тепла так и нет. Все отсырело, во всем доме едва где найдется сухая щепка.

Мы так и не молимся

Мы так и не молимся! Монастырь начинается у нас не с молитвы, но с внешнего устройства, расширения, привлечения новых лиц. Мы все устраиваемся, расстраиваемся, обустроиваемся и все ждем, что вот, мол, когда все наладим поудобнее, соберем братство, распределим все обязанности, – вот тогда сложим руки на груди и начнем молиться. Но древние обители не так начинались: шел подвижник, скорее, бежал ото всего, что отвлекало его от молитвы и уединения в Боге; отыскивал безлюдное, располагающее к забвению мира место, ставил крест и начинал сразу молиться, устраивал простую хижину и весь труд направлял на борьбу со своими страстями, всматривался в свое сердце и молитвою изгонял из него все то, что омрачало тенью его взор, обращенный к небу. У него и в мыслях не было – собирать братство, устраивать вокруг себя целый город, наполненный житейским хламом, суесящийся, хлопочущий о разного рода земных потребностях, каждый день порождающий тысячи и тысячи сложноразрешимых задач. Это случалось уже помимо его желания, даже наперекор его сильному противлению, когда накапливалось духовное знание, молитвенное преуспевание, стяжевалась благодать Духа Святого и – ради пользы многих – по мановению десницы Божией стекалось ищущее спасения братство, нарушало блаженное уединение подвижника; тогда монастырь вырастал сам собой, как вырастает большое раскидистое дерево из упавшего в землю семени.

Бывало, что монастырь начинался сразу с небольшого братства, когда несколько ищущих спасения душ соглашались уединиться ради сосредоточения на духовном делании; но и у них не было здесь той цели, того устремления, чтобы непременно расширяться, расстраиваться в большую «лавру». Монаху – по самому его духу – естественно желать оставаться в наибольшем уединении, в наименьшей суеетности; значит, ненормально желать увеличения братства; увеличение же происходит не от его инициативы, а по устройению судеб Божиих,

которым монах не смеет противиться. Теперь же наоборот: всюду в монастырях ждут не дождутся, когда их обитель начнет шириться и превратится в «монашескую лавру». Монастыри хвалятся друг перед другом своими постройками, числом братии, как будто монах не тот, кто свое сердце целиком отдал Богу, а тот, кто умеет покорять и привлекать другие сердца.

Но имеем ли мы право приглашать, громко звать многих идти вслед за нами? Мы сами уже достигли чего-либо, уже можем чем-то действительно духовным поделиться с ближним? Мы знаем, как надо монашествовать? Встали ли мы уже на прямую дорогу, уверены ли, что стоим на пути, безошибочно ведущем к желанной нам цели? Быть может, мы сами все еще бродим в незнакомом лесу, еще только переходим с тропы на тропу, лишь не теряя надежду когда-нибудь выйти на протоптанную отцами дорогу? Пригласим многих со многими тюками ходить вслед за нами, будем громко обещать скорое достижение цели, многозначительно постукивать пастырским посохом – и водить, водить несчастных, доверившихся нам овечек по едва различимым тропам, по каким-то темным ущельям, непроходимым болотам? Если древние отцы бегали наставничества, крайне нехотя принимали к себе учеников, то неужели нам теперь – всем изъязвленным, в проказе с головы до ног – не бояться, не осторожничать, не бежать от такой ответственности? Откуда это сейчас в совсем только вчерашних постриженниках такая ревность – собирать братство, строить монашеские здания на сотню братии? Не оттого ли, что и под монашеством они понимают только торжественно разукрашенный парад, как бы какое-то представление в древних одеждах, в таинственной обстановке? Все более заметна тенденция: и начинать, и устраивать монастырь как некую декорацию, как внешнее подражание чему-то древнему, отдающему стариной. Самое же главное делание – уединение души в Боге – едва-едва кем понимается и поминается.

При таком подходе дух суеты, круговорот земных хлопот не кончается. Строительство расширяет круг знакомств, привлекаются новые и новые помощники, они, в свою очередь, требуют забот и обустройства, круг попечений ширится, это

приводит к новым знакомствам – и так долго, пока в братстве не потеряется всякое даже воспоминание о духовном делании. Конечно, такая жизнь не может удовлетворить никакую душу, поэтому братия будут уходить, на их место приходиться новые люди, обманутые внешней картинностью монастыря, сами настоятели будут часто меняться, ибо и они будут скучать от строительства все одного объекта. Ясно: раз в основании обители не заложен молитвенный камень, то не может быть и хранения чувств, внутренней, духовной работы; самая основная «монашеская культура» не прививается к такой общине, чужда ей. Человек не станет пристально следить за своим сердцем, за тончайшими движениями души, если он не молится; он не научится избегать суеты, многословия, шуток, расслабления, раз он не занят очищением своего сердца! А если этого нет, то нет ничего! Иначе душа не очищается, не исцеляется сердце, и хотя нет внешних, кричащих грехов, однако внутри все преет, плесневеет, гниет. Такая «монастырская» жизнь не принесет добрых плодов. Можно судить, как идут наши дела, по тому, научаемся ли мы постепенно кротости и смирению? Нет! Не научаемся. Теперь уже, пока Господь не посетит человека какой-либо великой скорбью, пока не попустит испытать ему либо тяжелую болезнь, либо падение или иную напасть, никто и не пытается серьезно задуматься о своей душе и только в беде несколько начинает смиряться. Вот и выходит: нет монастырей, и только скорби, печали, напасти, искушения могут заменить собой то, что раньше давали стены монастырские, чему учила монастырская жизнь!

Что возьмем с собой?

Без подвига нет жизни, нет без подвига христианства, тем более невозможно монашество! Ведь всегда, когда вопрос касается любви, рядом есть соблазн полюбить меньшее взамен большего; значит необходима борьба, отсечение, «возненавидение» меньшего ради всецелого посвящения своих чувств большему. Никогда искание Бога, высшей Любви, тем более в монашестве, нельзя заменить покойным житием в саду с чашкой чая после тихой утренней молитвы, полусонным полулежанием в удобном кресле с духовной книжкой в руках или мирным копошением в огороде с Иисусовой молитвой на устах... Монашество – это не разновидность «пацифизма», не «миротворчество», не «психотерапия», «тихое», «мирное», «безобидное» пребывание на природе «любителей тишины и покоя», как многим нашим современникам это представляется. Нет, это обязательно битва, вызов на бой страшной вражеской силы, озлобленной на Бога и человека, вовеки непримиримой и ежеминутно замышляющей коварство. Но эта злобная, враждующая сила гнездится большей частью в наших сердцах, здесь устраивает свои крепости и засады, отсюда воюет против нашей любви. И вот надо напрягаться: то порвать, то сломать, то вырвать, отнять у себя, сделать себе очень больно; все стужающее отбросить от себя подальше, одно потерять, другое обрести, опять отказаться ради еще большего, найти где-то пятно грязи и опять выжигать, отторгать, каждый день разочаровываться и начинать опять и опять все сначала, взывая: «Господи, Боже мой, аще и ничтоже благо сотвориш пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое»⁴⁸. Монашество – не греться у теплой печурки в уютной келейке, подкладывая сухие поленья в топку, но «прибавлять огонь к огню» в своем сердце (святой Иоанн Лествичник) и бежать, «не оглядываясь на медлительных», ради того чтобы сберечь тот огонь сердечный, не дать ему остыть от холодного дуновения спящих душ. Это не безмятежность прочного дома, плотно обстроеного кладовыми с запасом дров и продуктов, но

скорее – плавание в бурном море в утлой лодчонке, с братьями или в одиночку: то ледяные волны перехлестывают через борта, грозятся опрокинуть ладью, потопить в черной, бездонной пучине; то зной, жажда, страх никогда не найти берег, неизвестность, оставленность; то встреча с акулами, блуждание по звездам, а иной раз и в полной тьме.

А мы все ищем покоя, ждем его: руками, словами, жестами думаем обустроить жалкий временный покой и в нем полагаем надежду! Как будто прочно сложенные (с архитектурным вкусом) стены, изящные рамы окон, ровно выстеленные камнем дворы и дорожки, ухоженный сад и удобренный огород могут даровать нам прочное, мирное настроение, создать удобства для духовной жизни! Конечно, когда *течет богатство*, не надо *прилагать к нему сердца*⁴⁹, тогда и внешний покой не помешает духовным подвигам. Но теперь большинство монахов именно усиленно «прилагает сердце» к тому, чтобы «текло богатство» к ним в руки, представляя необходимым условием для монастырской жизни хорошо обставленный внешний покой.

И вот монастырь оказывается лишь внешним прикрытием, «крепостью», где можно отсидеться, отдохнуть, снять напряжение и усталость. Но дальше мы не идем – сидим до поры до времени как бы под покровом какого-то плотного шатра, укрывающего нас от всякой непогоды; но ведь вот отнимут у нас все это монастырское прикрытия, и мы останемся ни с чем, еще более бессильные, безоружные, чем до монастыря, в совершенном унынии, беззащитные, расслабленные! И совсем не верится, что этот «шатер» будет покрывать нас долго. В любой момент может открыться для нас поприще странствования и бродяжничества, как это случилось с монахами в начале XX века. Что тогда мы вынесем с собой из обителей? Цитаты из святых отцов? Ностальгию по монастырской даче? Воспоминания о монастырских происшествиях? На что будем опираться? Какие «крылья» нас поднимут тогда над суетой мирской, над болотами и трясиной? Об этом надо думать чаще, теперь уже!

Чужая песнь

У каждого места, в том числе у каждой обители монашеской, есть свой особый, неповторимый дух, какой-то настрой во всем, как бы специфический запах или тон, свой особый ритм жизни, определенный «стиль», на всем своего рода печать. Это складывается из многих моментов, оттенков, часто едва уловимых и наблюдательным взором, и все это глубоко заложено во всем жизненном укладе, многому задает свой настрой и чаще всего формируется при самом основании или возобновлении монастырской жизни. Как ткань сохраняет оттенок того цвета, в который была окрашена первоначально, при всех дальнейших ее отбеливаниях и перекрасках, так и монах, по слову отцов, тем более монашеская община сохраняет отголоски и отзвуки первоначально заданного тона и ритма, то есть духовного настроя и направления, принятых в начале ее обустройства. И эта первоначальная окраска придает свой характер всему, что бы ни устраивалось и ни менялось в порядках общежительной жизни этого монастыря: сколько ни усиливайся, все-таки в какой-то степени всегда остаешься под давлением и влиянием этого веяния. Как в начале песнопения заданный тон неизбежно определяет звучание всей песни, так и здесь. И здесь – неуловимо для рассудка, но вполне различимо для слуха души – постоянно слышится какая-то мелодия. Подобное бывает в городских парках, где прогуливается народ, когда на всех аллеях и бульварах слышится одна и та же музыка, которая своим настроением все подчиняет себе. Только кажется, что горожане идут свободно, говорят свободно и думают о чем-то, не поддаваясь влиянию этого ритма, – нет, все заполнено этой музыкой, все зависимо от нее, везде она настаивает на своем, всему задает свой тон, свой строй и свой взгляд на жизнь: все как бы незаметно приплясывают под нее и подыгрывают ей. И кто старается не подчиниться этому настроению, нарушить заданный ритм, тот сразу же ощущает какую-то невидимую, но крепкую преграду, все усиливающийся нажим. Он испытывает какую-то непонятную для самого себя

«неловкость», неудобство, как будто он вносит дисгармонию в общий лад, становится каким-то чуждым элементом, вступившим в невидимую вражду со всем его окружающим. Так же бывает и в духовно благоустроенных обителях с теми, кто склоняется к расслаблению и самости; так бывает и в обителях, духовно не сложившихся, – с теми, кто стремится к истинно духовной жизни, с ревностью ищет спасения души.

Поэтому-то, видимо, монастырь должен устраиваться путем строгого отбора братии через проверку духовного слуха. Братия должны «спеться», «породниться», настроить слух на единую «музыку», избрать единый ритм и хранить этот настрой. Но самое главное, чтобы изначально подход к духовной жизни был избран правильный, а ритм жизни бодрый и здоровый. Иначе при неумении избрать правильный настрой либо при неподчинении здоровому ритму жизни, непременно начнутся в обители разлад, смута и, наконец, раздор.

Но вот беда! Теперь все чаще в наших обителях при самом уже их устройении (как правило, на «пустом месте», то есть хотя и на древних монастырских развалинах, но при полном отсутствии преемственности духовного опыта от прежних поколений монашества, при самосмышленном представлении о путях и особенностях монашеской жизни), с самого начала задается весьма странный, болезненный и далекий от истины «запев», какой-то крайне фальшивый «тон» и какой-то нервный ритм. Часто вся эта «музыка» напоминает меланхолический джаз, расслабляющий и в то же время услаждающий страстные струнки души: то убаюкивающий, то неожиданно всплескивающийся самыми резкими, будоражащими страсти звуками, то унылый, то безумно хохочущий. Эта странная «мелодия» опьяняет, будто «подкашивает ноги», парализует волю и в то же время навевает какую-то эйфорию, какую-то странную игривость настроений. Вместо того чтобы подавить и побороть свое индивидуальное, бежать от актерства и отсебятины, люди начинают, наоборот, подчеркивать свою особость, самость, нарочито выпячивать все свои странности и необычности, пытаются опять же играть роль человека интересного, оригинального, неординарного. Братство начинает

напоминать не людей, отвергшихся себя и ищущих лишь Божиего, но «богемное сборище», какое бывает в разного рода салонах художников или актеров, где все кривляются и пытаются изо всех сил выглядеть пооригинальнее и «позаковыристее». И часто человек, неопытный в распознавании православного настроения, принимает эту странную «балагурную», «балаганную» атмосферу, эту «поэтически-романтическую» развязную настроенность за дух истинного христианства и даже за непосредственность и простоту, свойственные настоящему монашеству.

Но нет и нет! Это не то, далеко не то, что есть на самом деле простота и нелукавствие! Быть простым, быть самим собой, сорвать все лживые маски и личины со своего ветхого человека – это вовсе не значит «распоясаться» и выказать себя во всем своем «своеобразии-безобразии»; наоборот, усиленно сдерживать себя, налагать узду на многие свои действия, на слова и поступки, всячески запрещать себе какое-либо самовыказывание и обращающее на себя внимание других поведение. Но тот дух как дурман, как висящий в воздухе наркотический дым. Стоит только человеку войти в эту атмосферу, он сразу же испытывает расслабление, в голову ударяет какая-то теплая, сладкая волна «бесшабашности», тут же пьянит, разнеживает, одурачивает. Это все тот же «дух дерзости», о котором в книге аввы Дорофея говорится, что он подобен сильному жгучему ветру, который портит всякий плод на деревьях, и что дерзость есть мать всех страстей, она изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий и рождает пренебрежение⁵⁰. Но он же есть и тот самый дух мира, стиль жизни, который избрало и полюбило падшее человечество, это то же жаркое, ядовитое, распаленное похотью дыхание, смертоносное пламя, исходящее из пасти дракона – мира, отвергшего своего Творца, поклоняющегося диаволу, пляшущего под его «музыку».

Но если хотим спастись, то прежде всего должны воспротивиться этому губительному, расслабляющему и дурмнящему «пению сирен». Нужны совсем другие звуки, «боевая дробь» – трезвая, мужественная, смиренная «песнь

отцов». Эту музыку надо слышать, ее прочувствовать, ею ободриться, под ее звучание жить и воинствовать, ее держаться. А от той, слащавой, пьяной, – бежать, как от ядовитой змеи.

Непростая «простота»

Старцу о. Леониду не нравились, как он в одном письме выразился, ученаго штиля политика и душевного человечества художественное соображение. «Ребята! за что купил, за то и продавай», – говаривал он своим ученикам, научая их держаться простого, открытого, непринужденного обращения, в котором бы не было ничего поддельного или затаенного.

«Если бы ты был, яко апостол, простосердечен, – сказал он однажды приближенному своему ученику, – если бы ты не скрывал своих человеческих недостатков, не притворял бы себе особенного благоговения, ходил бы не лицемерствуя, – то этот путь ближайший ко спасению и привлекающий благодать Божию. Непритворство, нековарство, откровенность души, – вот что приятно смиренному сердцем Господу. *Аще не будите яко дети, не внидете в Царствие Божие*⁵¹». ⁵²

Да, как же нам не хватает этой простоты, которая есть хождение пред Богом, а не перед людьми! Но ведь и простота эта не так проста! Непросто и нелегко стяжается, не без подвига и борьбы с собою. Не надо думать, что только захотел – и стал таким вот простым. Это ведь не поза, не внешняя только манера поведения, не развязность и панибратство, не одна лишь бесцеремонная свобода обращения с людьми, а действительная честность, презрение славы человеческой, «возненавидение души своей в мире сем»! Такая простота может стоять только на прочном фундаменте самоотречения, действительного «погубления души своей» в мире сем ради «обретения ее» в Царствии Небесном; на месте, очищенном от проявлений гордыни, после серьезных уже схваток с этой своей самостью и самодовольством. А как наивно, несерьезно многие теперь увлекаются только наружной притягательностью такой простоты и непосредственности, которые так нам нравятся у святых отцов, которыми мы восхищаемся. Имея внутреннее противление, отвращение к тем распространившимся ханжеству, лицемерию, фальши и льстивому притворству, которыми каждый из нас бывает

окружен тесно со всех сторон в миру, многие современные, особенно молодые люди становятся в позу распушенности и вызывающей вычурности, желая как-то выразить свое отвращение ко всему этому уродству. Это довольно характерное для многих современных молодых людей настроение. На самом деле они только переменили позу, продолжая все так же лицемерить, лгать, человекоугодничать, представлять себя теми, кем они вовсе не являются на самом деле. Мало того, в этом позерстве еще больше лжи и притворства.

Так нередко и мы, прочитав у святых отцов о простоте и непритворстве, не поняв даже, что эта простота так неблизка еще нам по духу, еще вовсе не свойственна нам, несродна и не заслужена нами, спешим подражать ей наружно, будто она уже есть в нас. Таким образом некоторые разыгрывают в монастыре дешевый и душевредный «спектакль». Они начинают как бы «юродствовать» друг перед другом, якобы скрывая свои духовные делания, которых у них еще вовсе нет. Стараются никак не выразить внешне свое благоговение и покаяние, которые как раз на первых порах требуют внешних проявлений, без коих душа новонаначального и вовсе не может согреться. Якобы для «честности» и «непритворства» они начинают выделять разные свободные, а иной раз и соблазнительные выходки: говорить дерзко, обнаруживать свою внутреннюю нечистоту и громко заявлять о своих страстях, греховных желаниях перед братьями. Они даже не замечают того, что так вести себя им совсем нетрудно, что для этой распушенности им вовсе не требуется побороть в себе что-либо болезненное, смирить тщеславие. Причем характерно, что все эти люди вовсе не так «просты» и «неприкровенны»: когда исповедуются и особенно когда духовник указывает им на какой-либо их грешок, начинается такое горячее оправдание себя, как раз тут многое свое пытаются скрыть!

Есть здесь одна коварная сторона: оказывается, сегодня само наше почтение и благоговение перед добродетелями христианскими вовсе не таковы, какими отличались христиане в прежние времена. Даже в монастыре среди молодой братии

какое-то тайное уважение и предпочтение отдается более не тому, кто тих, смирен, послушлив и сохранил себя в плотской чистоте, но тем, кто был прежде «сорвиголовой», «натворил делов» и теперь еще горяч и умеет за себя постоять. Даже в обители такие качества, какие имеют цену в миру и там модны, под давлением того же духа мира уже не видятся мерзостью и немощью, но так же вызывают тайное признание, так что часто новоначальные (а то и пожившие довольно в монастыре) стыдятся не страстные свои наклонности проявлять, а как раз показаться тихими и кроткими, послушливыми и не могущими постоять за себя.

Таким образом, в этой свободе и развязности таятся не простота и непритворство, а наоборот, – желание сыграть определенную роль и заслужить некоторое признание, здесь также позерство и спекуляция. И основание такого поведения все та же гордыня. Как раз прежде всего необходимо усилие побороть в себе всякую вольность, дерзость и свободное обращение, изо всех сил стараться быть действительно послушным, тихим и безответливым. Но «стараться быть» и играть в то, что ты уже есть такой, – разные вещи! Необходимо найти «золотую середину» между тем, что необходимо исполнять внешне, и тем, что можно не делать заметным. Нужно бояться как нарочитого выпячивания, так и расслабления по причине отсутствия внешних действий, неотделимых от внутреннего делания.

Как раз категорически запрещается рассказывать в монастыре братьям о своих бранях и страстях, о своих греховных увлечениях в миру и о своих падениях. Вся работа новоначального направлена на то, чтобы свои страсти и греховные порывы не выказать хотя бы вовне, не дать заметить братиям, не выразить словом и делом то болезненное кипение и бурление, которое происходит в нашей беснующейся душе и требует выхода наружу. Первый этап борьбы идет именно на этом уровне – не дать страсти проявить себя делом и словом. Один новоначальный как-то спросил: «Отче, посоветуйте, как скрывать свои добродетели?». Я ответил ему: «Давай начнем с того, что будем учиться, как скрывать свои страсти и грехи от

ближних, чтобы не соблазнять их и не заражать своими болезнями».

Потухающий огонь

Жизнь монастыря точно иллюстрирует образ огня, зажигаемого в печи. И обитель своего рода печь, в которой должен быть возжжен огонь веры и любви к Господу. Братия, души их – те дрова, которые, попадая в эту печь, должны воспламениться, преобразиться из грубого и невзрачного, омертвелою и плотского состояния в светлое, в жар, в светящееся пламя, должны своим сиянием и пламенением возжигать другие прилагаемые к ним души, и так печь должна дружно и весело зайти жарким огнем, согреть все вокруг. И как быстро, весело охватываются пламенем дрова в печи, когда та уже хорошо прогрета и полна алых искрящихся углей! Даже сырые дрова моментально отбрасывают свою влажность, вмиг обсыхают и начинают пылать, превращаясь в свет и тепло. А все не способное гореть, все чуждое света и огня летит прочь, унося свою черноту подальше, гонимое благодатью Божией. Но попробуй-ка разожги холодную, остывшую печь в сырую, зяблую пору, да еще сырыми, тяжелыми дровами. Озябшими руками пытаешься подкладывать щепочки помельче, отдираешь с мокрых поленьев кору, льешь на них солянку, – все это сгорает, а поленья только шипят, дымят, мало-мало начнут как будто гореть, но вскоре гаснут и лишь тлеют, наполняя келью ядовитым дымом. Иной раз намучаешься, уставший с дороги, да так и останешься в холоде.

Но вот совет: если дрова у тебя сырые, лучше отложи их в сторону и пока не трогай вовсе. Старательно поищи хоть немного поленьев сухих, наколи их потоньше и с них начинай разводить огонь. И только когда уж разойдутся хорошо да наберется алых углей, тогда только осторожно можешь подложить одно-другое из сырых поленьев. Но будь осторожен: не положи лишнее полено, чтобы сырые дрова своей влагой не задушили пламя в печи... Миротлюбцы, смешливы, весельчаки, болтуны, любители чаепитий и словопрений, расследователи чужих судеб и собиратели монастырских сплетен и скандальных историй – все это «сырые» люди, рассеянные, холодные в вере,

всегда скучающие в духовном, всегда повернутые лицом к миру, к толпе, к молве человеческой. Если окажется таких в обители чуть более допустимого или придут они в нее до времени, когда дух монастырский еще не сложился и не занялся огоньком, то скоро потухнет и последняя искра в печи! Будешь без толку жечь «растопку», будешь расточать «красные слова» и «звонкие призывы», петь «на все лады» до хрипоты, то молить, то устрашать, потратишь весь запас свой «зажигательный», сам весь закоптишься, рвение свое испепелишь дотла, а они только затлеют, задымят на малое время, почернеют – и погаснут. Да еще и черноту эту копотную сочтут, пожалуй, за самое свое монашество. И потом уже и сухие щепки не исправят положение, коль забита будет печь сырыми поленьями. Тогда опять начинай все сначала – разгружай печь...

Мы все бьемся над тем, чтобы развести огоньку и погреться в эту страшную сырую погоду. Мы еще ничего не достигли, сами зябнем, и только издали может показаться, что в лесу горит костер. На самом деле это все только растопка, только чирканье спичек и мучительное раздувание пламени – никакого тепла еще нет. Но вот уже сбегаются со всех сторон озябшие путники в надежде погреть продрогшие кости. Но нет огня, дорогие, нет пока, и не знаем, будет ли. За себя не уверены, выживем ли... Оставьте, оставьте нас пока биться над своим огнем...

«Град», который «не может укрыться», ибо не хочет этого

Думается, главный враг наш сегодня в монастыре, вообще современный враг монашества, – это дух уныния и расслабления. Теперь если монах не уклоняется в душевный, ложный настрой бурной деятельности, не увлекается «геройскими» порывами «освящать мир» вокруг себя и «спасать погибающих», а то и просто делать что-либо «этакое», «интересное», на показ и трезвон в обществе, то он чаще всего впадает в другую крайность – в тяжкую меланхолию, апатию ко всему, какую-то заторможенность и бесчувственность. Человек как будто на верном пути – бежит от всего ложного: бережется ложных стимулов к доброделанию, бережется дел «напоказ» и лицемерной ревности, ложной любви и опасных привязанностей... Но остается часто и без правильных стимулов к подвижничеству и бодрому шествию к высокой цели. Почему так? Как, отказавшись от фальши, не остаться скучать в бездействии? Чем должно поддерживаться наше бодрствование?

Беда, что многие заметили это и поощряют всякого рода ложные стимулы как в среде монашествующих, так и в среде мирян, – лишь бы те не засыпали и не теряли интерес к церковной жизни. Но, кажется, лучше «спать», чем так «бодрствовать». Понятно, что причина в крайнем нашем маловерии! Умом мы все верим и даже умеем красноречиво уговаривать ближних верить и жить церковно. Но как дело доходит до сердца, там такая туга встречается, такая густая, неповоротливая масса, как липкий, тягучий клей, что не можем сделать ни одного решительного движения, все как в кошмарном сне, когда снится, что хочешь бежать от надвигающейся опасности, но ни руки, ни ноги не слушаются и не двигаются, как онемевшие. Ум легок и прыток, запросто становится на новые позиции, с «новой колокольни» готов по-новому обзрывать окрестности, давая всему новую оценку и новое толкование. Но чувства сердечные, трудно поддающиеся

дрессировке, одичавшие и избалованные свободой, точно лесные звери, бредут найденными тропами, только дико озираются на подзывающего их, приманивающего куском хлеба. Когда не дает монах пищу своим страстям и не позволяет себе рядить страстные приманки в личины добродетельных порывов, тогда часто ощущает в себе как бы паралич всех душевных сил: кровь холодна, сердце едва бьется, ум весь в прошлом... Но пусть, пусть! Так все-таки лучше, так ближе к истине – при всей этой вялости и сонливости, чем при бодрой и задорной «игре в монастырь».

Мир сей... Это не только наши страсти человеческие, явные и греховные. Это еще и очень многое, что кажется вполне безобидным и даже похвальным, очень многое, что так прочно составляет нашу обычную человеческую жизнь и без чего она почти уже не мыслится. Но и в этом так много самого отяготительного для души, обворовывающего такое дорогое и необходимое, то, что есть «единое на потребу». И чтобы душа не скучала в духовном, ой как многое душевное ей надо запретить! А это долгий и болезненный процесс.

Все чаще видится, что в наших условиях – именно здесь, у нас теперь – общежительное братство с немалым числом монахов уже не оправдывается. Атмосфера монастыря, где собирается более четырех-пяти человек, уже едва ли может быть строго контролируема. Хотя братство в десять-пятнадцать человек и может давать в некотором отношении хорошую школу новоприходящему, но тому, кто хочет действительно заняться собой, с определенного момента в нем становится весьма трудно. Чтобы в таком собрании был единый дух и хоть какой-то порядок, сегодня, при нашей крайней душевной расстроенности, необходим весьма опытный, мудрый и, главное, мужественный, любящий, рассудительный наставник. Мало того, в среде братии должно сложиться действительное доверие и почтение к нему. Иначе монастырь будет все время представлять собой какую-то бесформенную, расплывающуюся «туманность», которая, как облако, носимое ветром, будет то подниматься вверх, то проливаться дождем, то рассеиваться и рваться на клочки.

Кроме того, в современном, до предела накаленном, напряженном мире даже средний по числу братии монастырь оказывается в самой гуще событий. Если *град, стоящий на верху горы, не может укрыться*⁵³, то сегодня развалины града, даже под горой, становятся еще более привлекательны для многих изрядно скучающих мирян. Заметный монастырь становится объектом туристических нашествий, приманкой для множества любопытных и всякого рода духовно- и душевнобольных людей. Все скучают, у всех «проблемы», все хотят мимоходом сунуть голову и в этот неизведанный уголок, нет ли там чего интересенького или новенького. Иные связывают с обителью надуманный ими «остросюжетный роман» или ищут здесь тех прозорливых старцев, о которых не раз читали и мечтали. А что делать бедным монахам? Если они понимают, что все это какая-то досадная ошибка, то все-таки не имеют покоя от разного рода странных посетителей и случайных знакомств. И это не малая задача – разобраться со всеми приходящими, не обидеть и в то же время не обременить монастырь лишними связями. Но беда, что многие из монашествующих теперь и того не различают, что это все лишь «искушение» и надо усиленно охраняться от этого нашествия. Вместо того начинают думать, что это некое особое призвание их – «окормлять духовно» всех проходящих через монастырский двор. Многие даже думают, что раз живем в такое духовно жалкое время и монашеского ничего в нас нет, так нужно, мол, заменить это делание «служением ближнему», под которым понимается проповедование христианской науки направо и налево всем мимоходящим.

Но это беда из бед! Что мы можем и имеем право проповедовать, когда даже не начинали заглядывать в свои души и даже еще не подозреваем, какие там звери и чудовища обитают? Таким образом, заметный по числу братии и стоящий на заметном месте (*при дороге*⁵⁴) монастырь неизбежно и скоро становится обычным приходом, а братия – постоянно проживающим по соседству с храмом клиром, состоящим из «холостяков». Вот и получается приходской храм на лоне природы с гостиницей и обслуживающими гостей служителями.

Такой монастырь – постоянная мишень для всякого рода стрел-соблазнов. Подъемный мост, ведущий в эту крепость, всегда опущен, ворота всегда нараспашку, двор всегда проходной, умы и сердца монахов всегда настроены на внешнее, уши и глаза натружены от работы. В душе сквозняк, как в комнатах с распахнутой настежь дверью, с разбитыми окнами, хотя и с теплящейся печью. Самый главный, основополагающий принцип – затеряться, скрыться, удалиться от молвы, с чего и началось монашество, от чего оно получило и свое происхождение, и свое наименование, и свой смысл, – этот принцип как раз отбрасывается сегодня, не сохраняется, даже порицается и считается не соответствующим современности.

Но самый факт того, что монахи открывают монастырь для бесчисленных паломников, позволяют мирянам жить в обители и гостить всем желающим, – что это? Почему я должен думать, что кому-то полезно жить рядом с нашим братством и смотреть на нас? Значит, я уверен, что продемонстрирую перед ним примерный, достойный подражания образ добродетельной жизни? Я приглашаю желающего поучиться у нас истинному христианству? Я полагаю себя образцом добропорядочности и снисходительно позволяю полюбоваться своими манерами? Но святые отцы всякое дело, всякий подвиг, совершенный монахом, если он огласил его, почитали не добром, но мерзостью. Одно из позволений монаху – уйти из своего монастыря – давалось, по правилу старцев, в том случае, когда в монастыре обучались мирские дети, дабы монах не имел неизбежной необходимости сделаться обзриваемым со стороны и все свое монашеское делание обнаружить перед посторонними. Как важно, что это позволение уйти из монастыря есть одно из трех, о которых только и дается указание в правилах монашеских! А мы, не имея самонаименованного монашеского делания, охотно открываем входы всем желающим поглазеть на нас, нас пофотографировать, за нами подглядеть. И то правда, что нам нечего скрывать доброго, и в основном вся брань идет за то, чтобы скрывать дурное и малопривлекательное.

Монаху, желающему укрыться от «путей человеческих», миряне иной раз льстят: *Не может укрыться град, стоящий на верху горы*. Действительно, современные наши обители становятся похожими на шумные города по стилю жизни в них и мало, что не могут, но отнюдь не стремятся укрыться, даже если они стоят под горой. А ведь Спаситель, говоря о *стоящем на верху горы*, имеет в виду стяжавшего особые дары Божественной благодати, возвышенного и обогащенного сими дарами, что и выражают образы «града» и «горы». Но мы же потому и бежим в обители, что погибаем в огне мирских соблазнов, что низки, «приземлены» душами, пресмыкаемся по земле, копошимся в прахе, нищи и убоги. Мы только-только пришли для того, чтобы очнуться, как пьяный с похмелья, поднять голову и вдохнуть чистый воздух. Когда же мы успели стать «градом», залезть «на верх горы»?

Итак, каждый человек, приходящий сегодня в монастырь, чтобы остаться здесь, приходит не один: за ним тянется целый поезд разных мирских связей, целые нагромождения разного пустого скарба. И весь этот балласт надо пообрезать, поотсечь, повыбросить. А будет он это делать? А захочет? А научат его этому? Да если и начнет кто-либо учить (хотя это такая уже редкость!), так он ведь еще как будет биться за этот свой скарб! И кто захочет вступить с ним в эту тяжбу? Но один-два таких человека в обители – и монастырь уже не монастырь, а мир, обычный человеческий хаос, беспорядочный поток слов, дел, вздоров и раздоров.

Брать – давать...

У епископа Феофана в одном письме говорится:

«У старцев пишется: пока есть охота давать и брать, не жди покоя. Эта фраза: «давать и брать» – обнимает все, всякого рода сношения с другими. Не вдруг-то можно достигнуть сего, но начало надо положить сейчас же».

Вот это – «брать-давать», «давать-брать» – как оно разоряет нашу сегодняшнюю монастырскую жизнь! Все-то мы ждем чего-то, все нам «необходимо» что-то. То-то нам должны принести, вот это надо передать. «Передайте, пожалуйста, ему, чтобы он взял то-то и отдал тому-то, а вот пусть возьмет там то и передаст этому...» – и так бесконечно! Непрестанное вращение вокруг нас какого-то земного хлама и скарба. А ведь это не безобидная для монаха хлопотня! Все это, в любом случае, отводит на себя внимание и время, в какой-то мере захватывает и мысль, и чувство. Сердце уже несвободно. Тянутся от него пусть тончайшие, но связи, нити за каждой такой безделушкой; волей-неволей бродит оно туда-сюда за этим круговращающимся хламом (уж и «сокровищем» его не назовешь). Тянутся за каждой такой безделицей узкие тропки в мир, к людям, ходит по ним душа, и уже никак не может она забыться в своей келье, собраться в своем «моношестве» к Богу, тесно ей становится в монашестве. Перережь эти нити-тропочки, и ты сразу станешь необыкновенно свободен, уединен даже в шумной и многолюдной обители, сразу обступит тебя некая пустыня, сама придет к тебе, не придется бежать за ней далеко в горы. Не жди ничего ни от кого, другим не обещай ничего: *знает Отец Небесный, в чем имеем нужду, прежде нашего прошения у Него*⁵⁵. Собери всю свою жизнь в одну точку, «сфокусируй» луч внимания на главном, избери «единое на потребу» – тогда только и успокоится душа. Тогда только и может прекратиться шатание по поверхности жизни, мельтешение бесплодное в пространстве и времени и начаться сокровенное углубление и обустройство в невидимом и вечном. Пока не оставим это бессмысленное перетаскивание с места на

место разного мусора, не можем начать копать в глубину, добывать из недр ее драгоценные камни. А до той поры только и можно будет говорить о «мон-ахах», «мона-стырях». Без этого «моно» от монаха остается одно «ах», от монастыря – один «стырь».

Пташка и кукушка

Мир как кукушка, которая подкладывает свое яйцо в гнездо какой-нибудь малой птахи рядом с ее крохотными яичками или даже выталкивает и сбрасывает с дерева их и вместо пташких устраивает свое, кукушечье огромное яйцо. Так и мир часто подсовывает в монастырь одержимых суетой века сего чад своих под видом жаждущих духовного и ищущих монашеского. Бедные монахи, не имея достаточной рассудительности и разборчивости, принимают это подложное за сродное себе и начинают обогревать и старательно высиживать это чужое «отродье», чаще всего в большой ущерб истинно монашескому и могущему дать достойный плод. Но сколько сил и тепла уходит на этого случайного нахлебника! И вот вылупится этакий уродливый, несуразный птенец, поспешит опериться в черные монашеские пуха и... пойдет чирикать да куролесить, суета и переполох в гнезде. Разевает кукушонок свой красный ротище так широко, что других скромных ротиков своих чад родимых пташка уж и не видит – и носится, носится, бедная, с червячками в клювике до изнеможения, вся истаивает. А эта невидаль все требует и требует, и подавай ей всякое разнообразие, придумывай многое развлечение. А то еще – в отсутствие надзора – повыталкивает из гнезда своих конкурентов, и они летят наземь и разбиваются или становятся добычей зверя какого-нибудь, а кукушонок уж полный хозяин в гнезде.

В основном сегодня монастыри и не имеют покоя как раз из-за того, что принимают в свою среду многих таких вот «кукушат» – случайных в монашестве людей. Великое заблуждение думать, что если человек не монашеского духа, то он сам скоро уйдет из обители или обитель его сама выгонит. Вовсе нет! Дело показало, что очень многие люди с некоторыми особенностями характера могут весьма долго проживать в обители, находить в ней для себя нечто покойное и желанное, в то время как к монашеской жизни как таковой нет у них ни малейшего расположения. Так часто и в храмах видим многих

желающих подпевать слаженному хору, таких, которые, вовсе не имея слуха или никогда не обучавшись пению, готовы с самоупоеанием подвывать и гнусавить, совершенно расстраивая пение хора. А предложи им прежде походить на репетиции, изучить хоть какие-то принципы пения – они сразу потеряют вкус и интерес к этому занятию. Так и в обители: многие желали бы поиграть в монашество, внутренне вынашивают разнообразные сюжеты и сценарии, которые желали бы разыграть на сцене. Часто посматривают на себя со стороны и напояют всю свою жизнь в обители таким «фимиамом» романтики. Такой человек и в монастыре, и в то же время смотрит на себя как бы глазами зрителя, как будто это все какое-то кино про монахов, где он играет довольно занимательную роль. Такие люди могут жить в обители очень долго, даже всю жизнь, только если не приставать к ним «с проверкой документов», не пытаться их испытать на отсечение своей воли и не лишать их возможности действовать по собственному их сценарию. И поскольку сегодня наша жизнь в монастырях такая жалкая, то очень часто ныне стараются никого не трогать, лишь бы пустоту заполнить хоть кем, а там – «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы...» не было утечки кадров. Вот и сидят такие «кадры» на горе монашеству и много в конце концов способствуют тому, чтобы современное монашество сделать дутым, актерским, фальшивым, как те гробы окрашенные с гнилыми костями внутри⁵⁶.

Именно такого рода насельники обителей вносят в жизнь их много пустой суеты и хлопот. Это они никак не могут остаться надолго на одном тихом, малопосещаемом месте, в среде разреженной и дающей возможность охладить вкус ко внешнему, развить вкус к сокровенному, внутреннему. Им необходимы обстановка сцены, декорации и, конечно же, зрители! Таким образом, в обители постоянно слышится какой-то настойчивый голос: «тó надо», «это бы надо», «пригласить бы надо вот того», «вот владыку бы пригласить», «вот тó бы дело надо нам сделать», – в общем, всегда краснеет большой разинутый клюв и носятся, носятся пташки с червячками в клюве – откармливают своих же гонителей...

Талантливые чужаки

Есть такие люди, которые, казалось бы, во всем подходят для монастыря, даже как бы стройно «вписываются» в «монастырский пейзаж». На взгляд, они и талантливы, и понятливы, и остроумны, и представляются очень ценными, подходящими для дел обители. Они способны ко многим ремеслам и необходимым в монастыре специальностям и, как ожидается, могут оказать неоценимую услугу братству. Но часто это весьма обманчивое впечатление, одностороннее: картинная внешность таких вот «молодцов» вводит в заблуждение не только окружающих, но и их самих. Кажется, «ну как такому не быть монахом – вылитый монах»... За что ни возьмется, всякое дело сделает ловко и ладно. Но не так просто на самом деле с подобными «молодцами». Нечто очень важное для монашества может как раз отсутствовать у них. Гибкость, покладистость, самоотверженность реже всего встречаются у таковых. Здесь на поверхности геройство и молодцеватость, но как дело доходит до настоящего смирения, то есть до тех случаев, когда необходимо по-настоящему сразиться с собою, так они уж ни в какую. В общем, когда дело доходит всерьез до монашества, то они делаются глухими и несообразительными, упористыми и негибкими, как какая-то окаменелость. «Тонкие» и «понятливые» во многих религиозных вопросах, они совершенно «тупеют», когда надо проявить смирение и отвергнуться собственного своего мудрования, – тогда они не могут распознать простейших истин, уразуметь, казалось бы, очевидных законов и понятий, без которых в монашестве нельзя сделать и шагу.

Такие люди могут без конца околачиваться по монастырям и храмам, места же себе покойного так и не обретают. Всюду им что-то не нравится, что-то гонит их, что-то беспокоит. В чем дело? Беда в том, что люди деятельные и способные к разного рода специальностям, сообразительные и энергичные во внешней деятельности, часто усваивают себе немалую самоуверенность и привычку надеяться на собственную

смекалку и сообразительность, переносят это упование на свою ловкость и в область монастырских проблем, уверены бывают, что и здесь так же все запросто поймут, усвоят и скоро продвинутся вперед. Не понимают, что здесь нужно напряжение и продвижение совсем по иным принципам и в иных областях, чем это требовалось в деятельности внешней. Привычка к самостоятельности и вера в свои силы – это своего рода какой-то литой медный истукан, стоящий на постаменте в самом центре их внутреннего «я». И вот эти люди хотят всюду протащить с собой этот идол и на каждом новом месте, где бы они ни водворились, устраивают опять же служение и поклонение этому идолу. Как раз он-то и не дает им возможности нигде упокоиться и отдаться чистосердечному служению Богу. Вернее, Сам Господь не попускает такой душе успокоиться – ради ее же спасения, чтобы она не застыла, не окаменела окончательно в своем этом самоупоении. Потому им попускается срываться и впадать в разные неожиданные искушения. Пытаясь встать, они опять начинают деятельность и труд на благо обители, но как только реабилитируют себя в глазах окружающих и заслужат опять уважение, так тут же «почему-то» претываются и падают.

Они могли бы только тогда начать правильную жизнь, когда в печи смирения растопился бы этот их медный истукан, когда монастырь своими врачующими средствами достиг бы самой глубины этой их раны, извлек бы самую головку гнояника. Но в том-то и дело, что такой человек будет изо всех сил отбиваться от того, кто предложит ему извлечь самый этот корень болезни. Ведь когда мы долго лелеем и покрываем ту или иную немощь свою, то она уже так с нами срастется и сроднится, что отсечение ее переживается как отсечение какого-нибудь живого и естественного нашего члена. Но только при такой серьезной операции, при добровольном на нее согласии мог бы быть удален из сердца этот кусок окаменелости, душа стала бы мягкой и податливой, как глина. Тогда они смогли бы жить в монастыре: ведь монастырь всегда старается месить, мять, лепить заново души. Но в том состоянии, о котором шла речь, эти люди воспринимают лишь ту сторону монастырской жизни,

которая позволяет медный идол их утверждать, рядить все в новые и новые одежды и сыскивать ему жертвы в виде разного рода похвал и почтения окружающих. Таким людям – при всей их наружной похожести на монахов, при всем их «аскетичном» виде и умении сказать мудреное слово – лучше было бы подальше быть от монастыря, жить в миру: там больше было бы у них шансов размягчиться в пламени жестоких искушений, познать свою немощь от многих житейских ударов. Монастырю же подавай способных к размягчению, готовых ради здоровья принять и жесткую руку врача с кровопускательными лекарскими орудиями.

Задержавшиеся гости

Многие приходят к нам в монастырь пожить, сразу заявляя, что они о монашестве не думают, а только хотят вот так «просто пожить» здесь, если можно, то и долго. И раньше мы таких принимали. Мы думали, что человек ведь сам не знает, где его путь, тем более не знает ничего о монашестве: как он может сразу иметь сформировавшееся желание идти в монастырь, чтобы стать монахом? Пусть поживет сколько хочет, время все покажет. Если он не «монастырский», то сам монастырь рано или поздно его исторгнет. И вот живет такой человек, живет долго, и уже даже трудно ему представить, чтобы пойти опять устраивать свою жизнь в миру. Живет не то чтобы слишком беспорядочно, но и далеко, конечно, от монашеского духа. Живет так, как должен бы жить средней добропорядочности христианин в миру. Ему чем-то нравится «монастырская жизнь» (то есть жизнь нашего монастыря – почти не монашеская, а только относительно благочестивая, какой должна бы быть жизнь обычных верующих в миру). Но само монашество ему по сути не нравится. Целый ряд монашеских законов, причем самых основополагающих, он никак не приемлет и сознательно решиться на этот путь самоотречения не может. Дело в том, что очень многие из современных нам молодых людей не тяготеют к семейной жизни, скромной жизни труженика и внутренне крайне устали от разного рода греховных развлечений и страстных увеселений. По духу они как много повидавшие и во всем искушенные старики. Скука и безразличие, пресыщенность жизнью – характерные черты этого довольно молодого поколения. В миру жить порядочно и более-менее благочестиво они не могут: их опять несет в разгул, оскомина от которого уже дает себя знать часто и настойчиво. Монастырские порядки обеспечивают им необходимый удерж, охраняют от коварств собственного их больного сердца. Для них здесь действительно «госпиталь», где они приходят в себя после тяжелого отравления. Но большинство таких душ, как не идущие далеко, не ищущие большего, совершенного, вполне упокаиваются на

этом относительном выздоровлении и, почувствовав в себе некоторый прилив сил, далее уже сильно томятся в этом «госпитале» и даже не понимают, в каком направлении можно им еще идти вперед. В то же время они хорошо знают, что с ними будет в миру, если они уйдут из обители. Почти каждый из них, выйдя раз-другой, уже вскоре покатился и опять прибежал, побитый и израненный. Мы по ошибке решили, что это знак того, что им не надо было выходить. На самом деле – не так.

Обитель действительно изгоняла бы чуждое себе, если бы ко всем желающим жить в ней предъявлялись требования вполне монашеские, если бы прежде всего они принуждались к отсечению своей воли и своего мудрования, и это было бы первейшим условием для того, чтобы задержаться здесь. Когда же мы практикуем попустительство и думаем, что «само время» уврачуе страсти и «сама по себе жизнь в монастыре» смирит их, то, конечно, это нелепость! «Сама по себе» обитель никого изгонять не будет! Да и кто она – эта «обитель сама по себе», которая производит этот отбор? Конечно же, это не стены, не двор, а только законы монашеские, правила и настроения, которые одни только могут охранить дух монастыря.

Такие «задержавшиеся гости» в обители хотя и незаконные члены, но скоро уже осваиваются и считают себя здесь вполне дома, начинают смело объявлять свои понятия о жизни в монастыре, создают некую философию, которой отвергается вся соль монашеского самоотречения и, напротив, все сдобрено неким сахарком самоугодливости и своенравной свободы. Они начинают навязывать братьям свои представления и подвергать критике понятия истинно монашеские. Оказывается, что «это вот не в духе любви», а «то вот не ко времени»; «это в духе прелести», а «то вполне допустимо при нашей немощи», а вон «то и это вовсе не вредно» и тому подобное. Читая в монастыре книги, они выбирают из них то, что соответствует именно такому расслабленному образу жизни, и этими цитатами еще пытаются вооружиться против тех братьев, которые радеют за БОльшую самоотверженность в своем монашеском делании. Все это крайне серьезно, и мы очень много сил и времени

потеряли, пока хоть отчасти стали видеть допускаемую здесь ошибку.

Так военный отряд превращается незаметно в бродячий табор, если подбирает многих несчастных путников и тащит их за собой вместе с их многочисленные тюками и узлами. Такой отряд теряет не только боеспособность и подвижность, но и расслабляется настолько, что уже ни о какой дисциплине не может быть и речи, и в случае встречи с врагом, скорее всего, погибнут все, не умея уже согласовать свои боевые действия. Но из-за нехватки мужественно настроенных «воинов» монахи сегодня часто оказываются в собрании таких вот «нагруженных скарбом переселенцев». До монашества ли тут?

Здесь фронт, а не тыл

В монастырь посылают больных людей – душевно и духовно. Полагают, что здесь им будет лучше. Это ошибка! Обычно они еще более здесь повреждаются, хотя это понять и объяснить только «психологией» невозможно. Главная ошибка в том, что думают, будто монастырь – это «тыл», а «передовая линия» – там, в миру. Думают, что основные сражения с демонами происходят там, а здесь люди отдыхают от брани, набираются сил. Но в том-то и дело, что в монастыре брань со злыми духами ничуть не слабее, чем в среде бурлящего страстями мира, она лишь тоньше и сокровеннее. Там бесы «внешние», вернее, страсти, грехи, соблазны; здесь, конечно, не так настойчиво и грубо нападение на человека, зато тайные, самые глубокие и коварные залогов тех же страстей еще яростнее и ядовитее распространяют свои ухищрения против души.

Если в обители жить бодро, то непременно откроется борьба, требующая героизма, мужества и рассудительности. А если, начав эту борьбу, бросив вызов врагу, затем расслабиться, то поражение будет тяжкое! С другой стороны, если жить пассивно, то тем более повредишься крайне, так как самой жизнью в монастыре и даже теми трудами, которые будут совершаться, хоть и вяло, бесы будут раздражаться. Все доброе и благочестивое, что человек станет исполнять в монастыре, будет вызывать в ответ злобу и скрежет зубов этих лютых ненавистников всего доброго, которые негодуют и направляют свое жало на всех живущих в обители и участвующих в славословии Бога. И они будут мстить и мстят в первую очередь – незащищенным.

Братия в обители составляют (должны составлять) как бы перекликающуюся стражу, стоящую на ночном дозоре: своими трудами, бодрствованием они должны подкреплять друг друга и ограждать обитель от нападения вражьего. Враг же всегда ищет дремлющего стража и, пользуясь его нерадением, рядом с ним делает пролом в ограде, отсюда начинает свои козни, пытаясь

разорить братство. На слабого брата всегда нацелен коварный расчет врага, самое удобное для него – через поддающегося влиянию человека, используя его уже как свое орудие, начать смуту и разорение обители. А ведь душевнобольной человек – самый незащищенный против таких ухищрений злобного духа, через него как раз удобнее всего «разыграть спектакль» в среде братий так, чтобы всех вывести из мирного настроения и переполошить весь мирный строй жизни. Это удобнейший «инструмент» в руках демона для игры «на нервах» всей братии: легко удастся таким орудием всех привести в беспорядочное настроение и вызвать ропот против самой жизни в монастыре. Для больных людей полезна не жизнь в обители, а молитва духовно сильных людей, старцев, стяжавших немалое дерзновение пред Богом. Если таких молитвенников в обители нет, то пребывание там больного – одно искушение для братии, для него же самого – новые бесполезные страдания.

Многие обманываются внешней обстановкой монастыря – тишиной, природой, размеренным ритмом жизни. Но они не видят той грозной, напряженной, «наэлектризованной», духовной атмосферы, которая все здесь собой пронизывает. Не слышат того рыка и скрежета зубов демонов, снующих тут и там, не замечают той воинствующей озлобленности против всех монастырских, которой злые духи дышат день и ночь и жаждут излить ее при мало-мальски удобном случае. И все это имеет место даже в отношении слабого и вялого монашеского общежития, и даже против таких монахов враг лютует; и тем более таковым нельзя включать еще более слабое звено в цепь своего братства.

Прошу тебя: не бери на себя чужих долгов

Сегодня мы все очень плохие христиане! Особенно это выявляется, когда современный христианин приходит в монастырь: только здесь открывается, как глубоко мы больны, как многое в нас не по Богу, сколь от многого надо отречься, сколь многое побороть, чтобы начать жить действительно верой, ходить, не отворачиваясь от Бога, всегда имея Его пред очами души. Все меньше людей, способных к монашеству: их уже единицы. Вот и среди способных все крайне слабы, больны и требуют долгого научения, многих испытаний и «большой трепки», прежде чем мало-мальски приблизятся к тому, что хоть отдаленно напоминает монашество. Поэтому большой соблазн – обойти все это сложное и тонкое и подменить его проповедничеством и пастырством, надеть монашеские одежды, но стать обычным приходским батюшкой. И здесь большое лукавство: сразу вспоминаются оптинские старцы, святой Серафим, многие, многие отцы-наставники XIX века, окормлявшие тысячи людей – монахов и мирян. Но старчество – как оно далеко от нас, сегодняшних духовных калек! Ведь это величайший, весьма редкий дар, который давался Богом особо смиренным и святым душам, причем прошедшим высочайшую школу послушания и самоотвержения.

Сочетать монашеский образ и духовное окормление мирян невероятно сложно. Это даже непостижимо и может совершаться дОбре только при особом промыслении, при содействии особой благодати Божией.

В самом корне слова «монашество» заключается его смысл – удаление, уединение, сокровенность от мира и хаоса его, от страстей человеческих, от всего влекущего к страстному и даже лишь напоминающего это страстное. Ведь мы тяжело больны, наш организм крайне ослаб и необходима «стерильная», охраненная от всякой «инфекции» обстановка, где мы могли бы несколько собрать силы, растрачиваемые на борьбу с болезнью, и помалу с Божией помощью начать возвращать в себе хоть что-то здоровое, чтобы видеть всегда не только одно больное и

греховное, но и понемногу научиться услаждаться Божественными красотами и вождедеть их. Если же вдруг, начав монашеский путь, оказаться в положении мирского батюшки, принимающего исповедь у мирян и исполняющего требы, то это значит опять окунуться в самую гущу мира со всеми его грехами и уродствами, причем стать лицом к лицу со всем самым больным, да еще видеть его в предельной обнаженности. Конечно, благодать священства покроет многое и даст силу претерпевать и не падать духом при виде ужасного зрелища, но монашество?.. Где оно найдет себе здесь уголок, где отыщет свою заветную «тихую пещерку»? Две силы, которые будут рвать сердце на части... Нет, это величайшая наука и дар Божий – сочетать одно с другим, не нанося ущерба ни одному, ни другому. Но кто из нас достаточно силен для этого? «Смотри, – говорил святой Симеон Новый Богослов, – смотри, прошу тебя, не бери на себя чужих долгов, будучи сам должником... Не дерзай давать кому-либо разрешение грехов его, если сам не стяжал еще внутрь сердца своего Вземлющего грех мира... Поостерегись братья пасти других, прежде чем стяжешь верным другом пастыря Христа»⁵⁷.

Но когда потеряно самое монашеское делание в монастырях, тогда братия только тем и могут удерживать единство, что возьмутся делать какое-либо дело – большое, трудное, размашистое, но стороннее: что-нибудь строить грандиозное, кого-нибудь «евангелизировать» массово, развивать какие-нибудь «изящные» искусства и тому подобное. Но попробуй отбросить все стороннее и в центр поставить самое монашеское – обетное... Сразу «под ряды пойдут нелады». И вообще, в наше время людей прочно соединяют в одном деле страсти и какое-либо нездоровое увлечение, но как коснется того, чтобы объединиться действительно в деле ради Бога и без примеси пристрастного, то едва-едва кто с кем сговорится и сладится. И если двое или трое сговорятся, великое дело.

Но, конечно, тем большую в наше время имеют цену и значение те монастыри, где сложилось уже хорошее братство и

где жизнь имеет действительно монашеское направление без ложных подстановок и стимулов. Только где они?

Еще одна страшная, ужасная, крайне уродующая души монашеская болезнь – это когда монахи в монастырях начинают ожидать санов и повышений. Это как какая-то зараза, инфекционная болезнь. Один такой зараженный начнет лелеять мечту и ожидать рукоположения; заметит это другой – начинает осуждать первого, потом и сам заражается: «Если он может стать иереем, то я гораздо скорее годен к тому», – и пошло, как цепная реакция, по монастырю. А что ужаснее этого? Одно то, что монах подумывает о священстве, уже яснее ясного показывает, что он вовсе не монах! Монашество не может начаться и быть без того, чтобы человек не увидел своего окаянства, не возжелал очиститься от своей гнусности и мерзопакостности, для того и бежит он в обитель, чтобы исцелиться от язв. И это для всех монахов закон, пусть и для самых чистых по душе (хотя таких теперь почти нет): все вступают на этот путь и идут по нему не иначе, как покаянием. Значит, монах всегда прежде всего смотрит на свою неуютность Богу, и чем более желает исправиться, тем более видит себя неисправным, и так всегда. Если этого нет, – значит, ничего нет: нет монаха, нет никакой монашеской жизни, нет ничего, Богу угодного. Но так себя видящий и чувствующий как вдруг помыслит и восхочет служения в священном сане? Да еще как возмечтает о пастырстве и наставничестве? Да еще как возмечтает о пасении и окормлении душ, обитающих в городах и селах посреди треволнения мирского, среди смятения житейского? Значит, не нашел он в монашестве суть его, его простор и его дыхание, иначе никак не пожелал бы такого. И ведь какое опасное, коварное искушение для монаха, прямо прелесть дьявольская! И как стало распространено! Так, что более всех других искушений и прельщений закрывает дверь в мир иночества. Даже одного этого неправильного желания, не исторгнутого с корнем из сердца, вполне достаточно для того, чтобы всю жизнь монаха не то что парализовать и обесплодить, но и самого его сделать всегда нетерпеливым, непослушным, дерзким, строптивым, завистливым, соревнователем в самом

худшем смысле, злобно подсматривающим за братьями и тому подобное. В общем, опаснейшая и губительнейшая заразная хворь!

И ведь как отцы всегда ненавидели эту болезнь, сколько обличали и предостерегали! А сегодня сколь многие из числа монашествующих безо всякого стыда и зазрения совести откровенно устремляются за санами и званиями! Им-то стыднее и позорнее всех должно быть такое соревнование! На Афоне была и есть такая традиция: когда узнавали, что кто-либо из монахов вынашивает помысл о получении священнического сана, то такого уже никогда не благословляли на рукоположение.

У святого Симеона Нового Богослова есть на этот счет крайне строгое суждение. В одном Слове он обращается к монаху, который, живя вполне правильно по-монашески, «отгоняет от себя всякую страсть, всякую злую похоть, всякое пристрастие и естественную любовь к родным и всякому человеку, и, действуя так, достиг наконец совершенной безгрешности и чистоты и воспринял в себя Бога, сущего превыше всех небес; вследствие чего не тревожим уже никакой страстью и ни к чему уже совершенно не имеет никакой склонности и любви, но всегда пребывает с Богом, имея ум свой постоянно горе в пренебесном Царствии Его». И вот, «положим далее, – говорит святой Симеон, – что, в то время как ты находишься в таком состоянии, кто-нибудь внезапно позовет тебя и введет в какой-либо город, где церкви большие и прекрасные, архиереи, иереи, царь со всем синклитом вельмож и телохранителей. Потом... начнут со многими слезами приглашать и просить тебя принять на себя попечение о душах их, чтоб ты пас их и пользовал учением своим, – и ты, не получив на то от Бога мановения, презришь Его, сподобившего тебя благодати соцарствовать с Ним, и, оставя небесные и вечные блага, дарованные Им тебе, спустишься к этим непостоянным и привременным и свяжешься с теми, которые пригласили тебя пасти их. Как думаешь? Ужели не праведно будет, если Бог, когда ты поступишь таким образом, оставит тебя пользоваться только этими привременными благами,

которых ты возжелал, лишив благ духовных как в настоящей жизни, так и в другой? Конечно, нет. Даже если бы Сам Бог повелевал тебе принять на себя пасение душ человеческих, тебе следовало бы, падши пред Ним, восплакать и с великим страхом и скорбью сказать: Владыко Господи! Как мне оставить сладость пребывания с Тобою единым и пойти в ту суетливую и многотрудную жизнь? ... Не низводи меня, бедного, в такую тьму. Или я согрешил в чем-либо пред Тобою, Господи, не зная того, и Ты за это опять возвращаешь меня в тот хаос, из которого Сам... извлек меня и вывел? Не расстраивай меня так сильно... но если я согрешил в чем пред Тобою, накажи меня здесь, где нахожусь. Если находишь благословным, отсеки лучше все члены мои, только не посылай меня туда, в тот хаос.

Если бы Бог и опять стал говорить тебе: иди, паси овец Моих, иди, обращай ко Мне братьев своих словом учения твоего, следовало бы и тебе опять ответить: увы мне, Господи! И как отделиться от Тебя мне, недостойному? Если бы опять и в третий раз сказал Он тебе: нет, ты не отделишься от Меня; Я и там буду с тобою неразлучно, то и тебе следовало бы опять, падши, восплакать и, омочая мысленно слезами пречистые ноги Его, сказать: как возможно Тебе пребывать со мною, Господи, если я низойду туда и омрачусь? ...если сердце мое, поползновенное на всякое зло, склонится к лести и похвалам человеческим? ... Боюсь, Господи, чтобы не победило меня сребролюбие; боюсь, чтобы не овладела мною воля плоти, чтоб не обольстила меня сласть греховная, чтоб не омрачила ума моего забота о пастве, чтоб не возгордила меня честь царей и властей, чтоб не надмила меня великость власти и не напустила презирать братьев моих; боюсь, чтобы не выступить мне из подобающего моему званию чина от пиршеств и винопития, чтобы не стала опять упитанною от сластей плоть моя... боюсь, чтобы просьбы собратий моих епископов и друзей не склонили меня стать участником грехов их... И где мне, Господи мой, изложить все опасности звания сего, которые бесчисленны?.. Пощади же меня, Человеколюбче, и не посылай меня туда – долу, на это предстояние над народом – в среду таких и толиких бед и зол.

Если бы даже Бог, похваляя любовь твою и твое смирение, сказал тебе: не бойся, – не будешь преодолён ничем противным, ибо Я обещаю тебе всегда быть с тобою, и ты будешь иметь Меня помощником себе во всяком деле, – Я и там – долу прославлю тебя с преизбытком и сюда опять возвратишься ты еще с большею славою и в большей светлости и будешь соцарствовать со Мною в бесконечные веки; – если бы даже, говорю, тебе дал такое обещание человеколюбивый и Всеблагий Царь, то и тогда не следовало бы тебе дерзать и быть совершенно беспопечительным, но надлежало находиться в страхе и трепете великом, помышляя, что ты как бы нисходишь с великой высоты в глубь глубочайшего кладезя, полного разными зверьками и пресмыкающимися, – и в таком настроении, с великим страхом взойти на престол патриарха, или митрополита, или епископа, или другого какого предстоятельства над народом»⁵⁸.

Вот как строго суждение отцов! Но если же теперь кто скажет, что такие запреты относятся к тем, кто находится на большой духовной высоте, общается уже с Богом в молитве, для кого потеря – сойти с такой высоты и отвлечься на заботы о ближних, то вот тут же святой Симеон и об этом рассуждает:

«Если же ты сознаешь, что ты не таков, как мы сказали выше, но тебе, напротив, кажется, что, принимая настоятельство над народом, ты восходишь снизу и отдолу в высь великую, то горе тебе за такую дерзость, горе тебе, по причине ослепления ума твоего, горе тебе по причине великого невежества твоего! Ибо такие мысли и помышления несвойственны людям мыслящим и разумным, но бессмысленным язычникам или, лучше сказать, мертвым, которые не видят, не чувствуют, не живут и совсем не знают, что есть Бог и что есть суд Божий...»⁵⁹.

Но теперь вовсе не зазорным почитается во многих монастырях высказывать монахам свою мечту о епископстве, даже в таких выражениях: «Плох тот солдат, который не желает быть генералом»! Что отвечать на такое кощунство? Нет, нет! Истинно, тот не монах вовсе и не вкусил ничего монашеского, кто мечтает быть иереем или архиереем! Здесь выписываю

весьма поучительную и как раз относящуюся к этому вопросу историю, происшедшую не так давно, в конце XIX – начале XX века.

Некто Василий Степанович Туляков (родился в Петербурге в 1864 году) с детских лет желал служить Церкви в священноиноческом сане и хотел поступить в духовное учебное заведение. По воле родителей, однако, начал обучение в коммерческом училище. Обратившись за советом к митрополиту Московскому Макарию, получил благословение готовиться к служению Церкви, поступив в семинарию, затем в Академию, и уже по совету того же митрополита намеревался принять и монашеский постриг. Но Господь судил иначе! Василий обратился письменно за советом, идти ли ему в монахи, к святителю Феофану, Затворнику Вышенскому. И тот так отвечал ему в письме своем: «Судя по порывам сердца Вашего, с силою прорывавшимся и постоянно живущим в нем, можно признать, что Господь зовет вас в монахи. Но самые сии порывы, спрашиваете Вы, не имеют ли небожественного источника? Положите в сердце своем вступить в монашество без сторонних намерений – с одним исключительным только желанием душу спасти и стяжать сердце чистое и богопреданное, и разумение духовно-премудрое, какое видите светло-блестящим в аскетических писаниях отеческих. Если же с принятием монашества у вас соединяется что-нибудь постороннее, то лучше в монашество совсем не постригаться, а жить в миру и стремиться быть искренним христианином». Признавая для монаха обязательным безусловное послушание, Василий ясно сознавал, что справедливое требование святителя он не может в точности исполнить, потому что с желанием монашества в нем соединяется желание епископского служения, а это последнее перед пострижением, по словам святителя Феофана, требовалось «выкинуть из головы». Об архиерейском же призвании епископ Феофан писал Василию Степановичу: «Ведайте, что архиерейство дается по особому Промыслу Божию, что степени архиерейства должно соответствовать духовное совершенство, коего знаки суть чистота сердца и живой союз с Господом, в преданности Богу. Без этого архиерей

бывает только по имени. Я из числа таковых», – добавил святитель.

Как ни прискорбно было Василию отказываться от воплощения своего давнего желания, он, однако, согласился с доводами святого отца и уехал в деревню в имение матери, где занимался сельским хозяйством и изучением святых отцов-аскетов. Поскольку другой службы, кроме служения Церкви в священноиноческом сане, он не желал, то решил ждать, пока Господь не устранил препятствие из его помыслов. Почти пятнадцать лет, постепенно ослабевая, происходила эта внутренняя борьба помыслов. Наконец Господь благоволил услышать молитву и отнять это препятствие, совершенно уничтожив таковые помыслы, и тогда только Василий стал послушником Александро-Невской лавры. Святой Феофан еще ранее писал ему: «Если сердце Ваше будет хранить свое рвение к монашеской жизни, то вступление в нее будет благотворно для Вас». Справедливость этих слов Василий испытал во время послушничества – этот период был самым счастливым и радостным в его жизни. В 1905 году он был пострижен в монашество с именем Феофан, в том же году рукоположен во иеродиакона, затем во иеромонаха, в 1908 году возведен в сан архимандрита и стал наместником лавры, в 1915 году хиротонисан во епископа Кронштадтского, в 1916 году назначен епископом Калужским, в 1927 году – архиепископом Псковским и Порховским. В 1935 году переведен в Нижний Новгород с возведением в сан митрополита. В 1937 году митрополит Феофан (Туляков) был арестован, подвергнут жестоким пыткам и вскоре расстрелян⁶⁰.

Трогательная и поучительная история! «Положите в сердце своем вступить в монашество без сторонних намерений – с одним исключительным желанием душу спасти»; «если с принятием монашества у вас соединяется что-нибудь постороннее, то лучше в монашество совсем не постригаться», – вот те основополагающие законы, которые никак нельзя нарушать.

А о том, как грешно, как дерзко и как мерзко пред Богом, когда монахи начинают мнить себя годными и способными к

несению епископского служения, свидетельствует такой случай, произошедший на Афоне в XIX веке.

В одной пустынноческой келье на Святой Горе подвизался монах-грек, выходец из знатного рода. Отказавшись от всех прав своих на славу и почести света, он избрал суровую пустынную жизнь. Нужно полагать, что в монашеских подвигах он был чрезвычайно ревностен и сильно раздражил беса, который воздвиг против него жесточайшую брань. Когда все попытки злого духа в мысленной брани остались безуспешными, диавол нашел, однако же, слабую сторону в душе монаха и его собственное сердце и разум употребил орудиями к его падению. Бес вскружил голову пустытника мыслями о высоте его подвигов, убедил его разум представлением разнообразия и строгости и множества их и таким образом мало-помалу со временем довел несчастного до такого заблуждения, что он стал желать таинственных видений и очевидных опытов проявления духовного мира. Когда таким образом укоренились в нем глубоко гордость и самомнение, демон стал действовать решительно. Он начал являться пустыннику в виде Ангела и беседовать с ним. Несчастный до того верил словам «ангельским» и собственному своему помыслу, что начал желать служения Церкви в архиерейском сане, которого, по словам «ангела», он давно достоин и к которому предназначен Самим Господом. Значение родных его в свете слишком занимало его воображение, и слава их имени щекотала мысль забывшегося подвижника. Недоставало только случая, который бы мог его вызвать из пустыни в мир... Но у беса за этим дело не станет. Однажды, когда пустытник был слишком занят высоким своим предназначением в будущем и, придумывая средства к достижению своей цели, погрузился в глубокую задумчивость, вдруг кто-то брякнул кольцом на крыльце. Пустытник вздрогнул, перекрестился и, нашептывая молитву, подошел к двери.

– Кто там? – спросил он.

– Такие-то, – отозвались из-за двери, – мы с твоей родины, принесли тебе от родных твоих поклон и еще кое-что. Мы с

важным к тебе поручением, позволь войти к тебе и переговорить с тобою, святой отец.

Пустынник отпер дверь, и два незнакомца почтительно приветствовали его.

– Прошу пожаловать, – скромно произнес пустынник, пропуская гостей внутрь.

Незнакомцы вошли. Хозяин усадил их на циновочный диван и сам сел напротив. Вошедшие стали говорить:

– Вот что мы должны сказать тебе, святой отец: ты знаешь, как мы страдаем в подданстве Порты, как угнетены мы, наши семейства, наша вера и самая наша Церковь... Война у турок с Россией кончилась миром, чрезвычайно для нас выгодным, нам теперь даны свобода и возможность жить по-христиански... Но вот беда: у нас, на твоей родине, нет епископа. А без епископа может ли быть Церковь, в силах ли мы управляться сами собой? Кто защитит нас от хищничества турок? Между тем мы знаем твоих родных, знаем и тебя, и твою жизнь, а потому прости нас, что мы тебя без твоего согласия выпросили себе в епископы. Вот на это и турецкий ферман, а при нем и патриаршая грамота... – и посетители вынули бумаги и передали их пустыннику.

– Помилуйте! – возразил пустынник, смиренно потупив глаза, а между тем готовый прыгать от радости. – Мне ли принять жезл пастырского правления, когда я и сам собою не в силах владеть? Мне ли взять на себя бремя апостольского служения, когда я чувствую свои собственные немощи и множество грехов? Нет, чада, отрекаюсь от того, что выше сил моих! К тому же моя пустыня не рай, я дал обет пред Богом – умереть здесь...

– Как хочешь, думай о себе, святой отец, – отвечали незнакомцы, – а глас народа – глас Божий; воля правительства – воля Божия! Ты знаешь, что общественная польза предпочтительнее нашей собственной. А ферман на что? Нет, отец, не отрекайся! Церковь тебя зовет. Если ничто тебя не трогает, ни бедствия народа, ни семейные наши горести, так ужели и нужда Церкви для тебя ничего не значит?

– Когда так, – отвечал наконец пустынный по некотором размышлении, – согласен.

– Итак, отец, поторопись! – заметили гости. – Чем скорее отправимся, тем лучше: невдалеке отсюда, на дороге, нас ждут мулы и провожатые.

Пока пустынный собирался, что-то укладывал в мешок свой, незнакомцы не переставали торопить его. Наконец они стали подниматься от его кельи по тропе, проходящей по краю высокой отвесной скалы. Тяжелая грусть и смутное предчувствие теснили грудь подвижника; он затосковал о разлуке с пустыней. Когда они поднялись на крайний уступ скалы, несчастный не хотел уйти, не взглянув еще раз на неземные красоты своей строгой пустыни. Все трое они стояли на скале, под ногами их лежала глубокая пропасть. Пустынный был неосторожен, так что при беседе со спутниками подошел к самому краю обрыва... И тут сильный толчок в спину сбросил его, как вихрем сорванный с дерева листок, в самую бездну. Со скал, вслед низверженному, раздался свист, и сатанинский хохот разразился над пустыней.

Несчастный, впрочем, не убился до смерти. Бог дал ему время для покаяния и послал к нему инока из соседней кельи. Низверженный был весь изломан, самый череп его разбит, кровь ручьями текла из ран. Однако ж он имел достаточно времени и силы рассказать подробности своей жизни и искушения, просил у знавших его отшельников поминовения и молитв и на руках плачущего инока испустил дух. После ужасного своего искушения он не более трех часов был жив⁶¹.

Какая жуткая история! Так, значит, отвратительны пред Богом были это зазнайство монаха, эта его дерзкая мечта о первосвященстве, что попустил Господь злым духам прежде всего посмеяться над несчастным! Но и теперь все те монахи, которые, не имея и вовсе никакого монашеского делания и труда, так же мнят себя готовыми к достойному несению трудов иерарших, не так же ли будут в определенный момент осмеяны и поруганы диаволом? И еще большой вопрос: что страшнее и что пагубнее – падение ли в физическую пропасть с действительной скалы или ниспадение в пропасть

безнравственности или духовного опустошения с мнимой высоты прельщенного самомнения? И даны ли будут еще те «три часа» для покаяния? А ведь сколь многое – не менее тяжелое и трагическое – может протекать вовсе не заметно для стороннего взгляда под монашескими параманами и архиерейскими омофорами, даже при всеобщем почтении и уважении...

Привычное сегодня рассуждение: ну почему бы монахам не заниматься миссионерством и проповедью, почему бы не помогать людям найти дорогу к Церкви и не вести их по пути к Богу? Что, собственно, толку от того, что монах будет всю жизнь просиживать в монастыре, часто скучая и унывая, будет всегда занят только своими внутренними, монашескими проблемами и заботиться только об исцелении своих собственных духовных недугов? Разве это не эгоизм, разве не бесплодное прозябание? Что толку сидеть самому со своим светильником и поправлять фитилек, подливать маслице? Не правильнее ли освещать дорогу другим? Не ближе ли это к верному христианскому образу жизни, к деятельному исполнению евангельских заповедей?

Но пусть скажут: какая свеча предпочтительнее – та ли, которая скромно горит перед святой иконой на подсвечнике, с верой и молитвой затепленная (пусть даже в пустом храме, никем не наблюдаемая), или та свеча, которая горит в руке домохозяйки, когда она в темном чулане усердно отыскивает какую-нибудь затерявшуюся вещь? Не посчитаем ли мы святотатством снять горящую свечу с подсвечника перед иконой Спасителя или Пресвятой Богородицы и пойти с нею к калитке встречать ночного гостя, дабы осветить ему дорожку? Не различаем ли мы светильники, которые используем, одни для свечения, тепления, согревания молитвы перед святыми образами, другие же – для освещения комнаты или входа на лестницу? И опять – это редчайший дар Божий, когда человек умеет, предстоя Господу, не отвлекаясь от Него, звать и приводить на поклонение Ему других людей... Редчайший дар!

Обманчивая оттепель

Монах бежит от душевного человеческого тепла, от разного рода «любви», от «связей», земных отношений, привязанностей: он должен остаться один, должен охладеть ко всем и ко всему, что прежде согревало его в миру, как бы застыть на какое-то время в этой «мертвости», как застывает, не подавая признаки жизни, обнаженное, оледеневшее, прикрытое снегом дерево в пору зимы: только где-то в сокровенной глубине хоронится жизнь, теплится живоносный сок, накапливаются к грядущей весне силы для пробуждения, для будущей настоящей жизни. Повелит Господь – и в назначенный Им день и час отступит холод, разомкнутся ледяные объятия, прорвутся сквозь завесу облаков яркие лучи солнца, откроется лазурная даль небес; дерево распрямится, расправит веточки, вберет в себя весенний воздух, начнет пить чистейшую влагу из мягкой земли – и радостно заструится, побежит по сосудам его новый сок жизни; размягчится черствая кора, и из-под скорбных морщин ее пробьются новые побеги, зазеленеют почки, еще немного и заблагоухает цвет среди воскресшей, ликующей на солнце листвы: все новое, свежее, здоровое – без изъяна в сретение Пасхи, приветствуя весну; и затем – долгая радость, кипучая жизнь в продолжение нескончаемого лета... Но прежде необходима та зима, та «смерть», та сокровенность и погруженность в себя. Ведь и перед Пасхой у нас – долгий пост, потом даже особо «умертвляющая» Страстная! И как это приготовление изнурительно, как скорбно – сколько муки в нем, сколько тесноты! Какая борьба здесь, сколько крови должно пролиться, сколько слез! Сколь многого нам надо отрешиться, сколько «любимого» отторгнуть от сердца, скольким поболеть! И все это оттого, что многое, очень-очень многое прилепилось к сердцам нашим, навязалось, срослось с ними, а оно все от праха, от земли, от преходящего – тленное. Ведь тленное – это все то, что не имеет помазания вечности, не способно протечь через тончайший покров небесного, должно отсеяться, остаться по сию сторону врат, вводящих в жизнь, тесных, как *игольное*

*ушко*⁶². И как кричит душа, как не хочет расставаться со всем этим любимым, как настойчиво доказывает, что и эти ее приобретения самые святые и непременно достойны посвящения в нетление. Но *угольное ушко* не пропустит в горний Иерусалим идущих с такими «богатствами», и лучше теперь же обнажаться от них, теперь уже примеряться к *тесным вратам*, вступая на *узкий путь*⁶³. Но кто не изведал этой борьбы, тот посчитает ничтожным это совлечение своих привязанностей: что, мол, такого – соберемся с духом, раз-два, и побросаем все, что там терзаться, что малодушествовать. Но не так все это, не так!

Вот, к примеру, есть у нас потребность в пище телесной. Каждый день мы так или этак питаемся и даже часто не обращаем внимание на то, что мы, собственно, ели; иной раз и недоедим, а беспокойства из-за этого не испытываем; в другой раз легкий голод даже доставляет нам своеобразную приятность. Но вот, не ешь день, два, три... Сначала сосущая пустота во внутренностях будет жалобно ныть, просить, жаловаться. Но затем все более и более раскрывается эта пасть: вот уже внутри нас огромный дракон с разинутым широко зевом, с налитыми кровью глазами; он рыкает, требует пищи, он уже целая пропасть, гудящая: дай! дай! дай! Во время голода бывает, что люди пожирают людей, матери – детей своих! Вот какое кровожадное чудище притаилось в нашем столь «миролюбивом» и «добродушном» чреве! Видишь: наше брюхо, которое бывает милым весельчаком, «тамадой»-балагуром на благодушных товарищеских пирушках, которое бывает изобретателем и покровителем столь частых, столь приятных и мирных времяпрепровождений в тесном кругу близких, даже столь многих сдруживает и делает неразлучными товарищами, – оказывается, будучи стеснено, может превращаться в зловещего разбойника, безжалостного убийцу, вампира и людоеда!

Но это не единственная, сокровенная в нас бездна – их много! Так, в нас есть другая «бездонная пропасть» – потребность не менее сильная и при случае пленяющая все помышления и чувства, – потребность быть любимыми, быть

для кого-то дорогими, близкими, кем-либо высоко ценимыми, уважаемыми, кому-то весьма желанными. Когда-то все это относилось в нас только к Богу, только в Боге эта потребность могла бы находить свое удовлетворение, но, удалившись от Него, лишившись той благодатной близости, которая одна могла питать ее, согрешив против любви, мы стали всего этого искать в этом падшем мире, ждать этого от падших своих братьев и сестер. И вот эта никогда не удовлетворимая до конца потребность ныне стала центром, главной заботой, основной точкой приложения всех наших сил, жизненных интересов, стимулом бурной деятельности. Вдумаемся хорошо: что нами не делается в течение дня именно ради этого? Все, что люди желают сегодня иметь в жизни, – это прежде всего и почти всегда обретение цены, значимости, почтения или – хотя бы видеть рабское преклонение перед собой в среде окружающих, быть центром внимания, благоговения, «важной фигурой» в глазах людей. Это в нас как мучительная жажда, томительная, постоянно напоминающая о себе боль! Мы хотим, чтобы все, что мы любим в себе, обязательно любил в нас еще кто-то, и даже то, чего мы не находим в себе, но что хотели бы находить, – чтобы непременно в нас находили другие. Если что-то наше никем не любимо, нам уже не по себе, нам больно, скучно, нам оно уже неинтересно и ненужно. И когда мы не подкармливаем вовремя эту потребность, тогда-то она, подобно голоду и жажде, разевает пасть и превращается в то же буйное чудовище.

Выход только один – к Богу! Искать Его любви – истинной и беспредельной! Но прежде разлюбить себя, увериться, что нет в нас ничего достойного любви. Итак, сколько борьбы! Сколько труда: надо измениться, покаяться, оставить все, что лживо, притворно, построено на иной любви, на эгоизме и самости! Бог совершенно свят – и приблизиться к Нему может только освященное. Он призывает нас очиститься, освятиться, – значит, измениться, то есть отбросить, как грязь, как старую кору или шелуху, все земные пристрастия, все привязанности, все мелкие наши «любовьшки». Распродав все мелкие жемчужины, купить одну великую и славную, более всех других.

Итак, необходима решительная самоотверженность – то, чего нам очень теперь не хватает! Все, что мы любили в себе, то есть почти все, что, как нам казалось, составляло нашу жизнь, наполняло ее, украшало, делало занимательной, теперь надо отбросить, совлечь с себя с усилием, как змея сдирает с себя старую кожу, протискиваясь сквозь колючий кустарник, между острых камней. Надо даже «возненавидеть» самих себя – таких, какие мы есть теперь, то есть разлюбить накрепко! Но как жаждет жизни эта полумертвая наша оболочка, как боится смерти эта полуживая наша половина, которая от мира сего! Как желается ей пожить и поплясать еще в этом балаганном мире, погулять вволю, попаясничать, попьанствовать, подышать еще его хмельным дурманом! Как жаждет падший человек наш, чтобы его любили уже здесь, теперь же и именно таким, каков он есть, сейчас же, со всеми его «человеческими слабостями» и нечеловеческими сильными желаниями и порывами, со всеми его нежностями и жестокостями, то скотскими, то зверскими поступками, со всеми актерскими розыгрышами и шутовскими кривляниями, то со злобной замкнутостью, то с язвительной говорливостью – таким, каким он сам себя все еще любит до опьянения, несмотря на то что страдает каждую минуту именно от самого себя. И вот необходимо постоянное противление – стоять «грудью» наперекор наплыву душевного тепла, не позволять себе растаивать от обманчивого дуновения еще далеко не весеннего ветерка, не обмануться преждевременной оттепелью. Иначе оттаявшее, размягчившееся начнет гнить, смердеть разложением. Пока время зимы, полезна нам сухость мороза! Так на легкопортящихся продуктах пишут: «Хранить в сухом прохладном месте».

Пока не имеем права на кипучую жизнь, бьющую весенним ручейком из ожившей земли, пока не имеем здоровья для этого веселья, недостаточно осолены, чтобы встретить неповрежденно теплоту дня. А как опасно для монаха это искушение: вдруг входит в его жизнь какой-нибудь «добрый», «хороший», «милый» человек, весь такой изъязвленный, жалкий и теплый, в его «холодную» жизнь; входит такой влажный, пахнувший улицей, дождем, в его сухую келью, пропитанную

ароматом фимиама, медовым запахом воска... Конечно, надо помочь: поддержать, научить, охладить пыл, согреть душу, высушить влажную одежду, напоить чистой водой, утолить его голод...

Как безобидно, трогательно, даже «свято» выглядит эта первая помощь озябшему скитальцу, набредшему случайно (а может, не случайно? от Бога ли это?) на спасительную обитель одинокого отшельника... И при неосторожности как растепливается, как разнеживается душа одиноко живущего, когда он вдруг оказывается так нужен, так полезен какой-либо потерявшей душу! Как вдруг легко забывается то, как неотложно он нужен самому себе, как срочно нужен для важнеего дела, что он еще не потушил до конца пожар в своем доме, что он сейчас как раз спешил с ведром за водой, чтобы продолжать борьбу с коварным пламенем... А если есть еще и отдача? Если его с интересом слушают? Если слово его оставляет «яркий след», сочно живописует на этом не исписанном еще холсте? Тогда тихий и скромный уединенник и затворник широко растворяет сердце и льется, льется из его души вода; он и живописец, и ваятель, и поэт, но сам не знает, откуда берутся слова, столько чувств, заботы, любви, нежности, самоотдачи... Он жадно пожирает внимание к себе, к своему слову. А это почтительное: «скажи, отче», «благослови, отче», «прости, батюшка» – как сладкий праздничный пирог на Пасху после долгого строгого поста. Кусочек, еще кусочек – как приятно, как хорошо...

Однако почему-то и дурно как-то, не по себе, подташнивает. Сердце уязвлено, далее – больно, и, наконец, – хронический пьяница, пристрастившийся к незаконному, уворованному веселью. Но душа уже кричит: еще! еще! Дайте пить, хоть глоток – это признание, это внимание, эту «без меня необходимость»! Все растаяло, потекло! Жизнь, деятельность, журчание речей, щебетание голосов, повеселели глаза, разгладились морщины... оттепель – да не по весне! Завтра опять подует холодный северный ветер, ударит зимний (все еще) мороз, все преждевременно ожившее, пустившее ранний цвет померзнет, погибнет. Все соки, взыгравшие по ложному зову, заледеенеют,

разорвут вены ветвей, и весна, пришедши, найдет ветви поникшими, не способными к цветению, к плодоношению. Один день призрачной жизни, несвоевременного взыграния, подложной весны лишил его счастья истинной, вечной радости, пасхального цветения, в срок плодоношения. Отпраздновать Пасху прежде Страстной седмицы – довольно распространенное искушение и, может быть, самое частое для «строго попостившегося» в начале Великого поста.

«Нежность» не очищенного от жестокости страстей сердца, «жертвенность» души, не отвергшейся еще самости, «любовь к ближнему» любящего себя и поставляющего себя далече и высочайше всех близких и дальних – как все они коварны! Как смеются эти «призраки добродетелей» над нашим братом! Какие это хитрые злодеи в миловидных масках! Мы думаем: это смиренные девы, а это ведьмы коварные, с личинами невинных девиц, скрывающие под благовидным покровом скромных одежд сосуды со смертоносным ядом в костлявых, греховодных руках.

Сердце думало любить. Но оно только больно

Какая опасная болезнь – пристрастие духовника к пасомому им! Иной раз начинается она с того, что человек, до того времени обращавший на себя спокойное и сдержанное внимание пастыря, вдруг начинает привлекать к себе его сильное сочувствие, уже кажется ему необычным, каким-то «особенным», из «общего ряда выдающимся», очень каким-то «хорошим», располагающим к жалости, к сугубой заботе о себе, таким «духовно одаренным», «многообещающим», даже особенно «талантливым», «способным вобрать в себя, развить слово и мудрость христианские»... Чаше всего такая перемена отношений происходит после откровенной беседы – одной, другой, иногда после откровенной исповеди, когда душа предстает в самой своей непосредственной красоте и, несмотря на весь грязный покров, греховную кору, высвечивается из-под этих уродливых наслоений Самим Творцом написанный образ – чистый, светлый, привлекательнейшей простоты и красоты лик души. Именно кающаяся, смиряющаяся душа, чистосердечно исповедующаяся, как бы сбрасывающая грязную одежду, обнажающаяся от игры, фальши, притворства, необыкновенно красива, привлекательна! В этот момент сердце духовника всегда невольно согревается, располагается к кающемуся, часто проникается теплотой и нежным, сострадающим чувством.

В это время к растеплившемуся, разнежившемуся сердцу легко подступают многие и не столь безупречные и святые чувства. Святой епископ Игнатий (Брянчанинов) предостерегал, говоря, что нежность коварна и нельзя позволять себе разнеживаться. Святой Иоанн Лествичник так же пишет, что с любовью нередко сочетается блуд. Вот и здесь под видом священного умиления, сострадающего расположения, заботливой, отеческой нежности льстиво прилепляются к душе чувственные, плотские, «кровяные» (как часто выражается святитель Игнатий) порывы. И далеко не сразу духовник начинает понимать, что эта симпатия, участливость, трогательная нежность берут свое начало из страстной области

сердца, питаются соками от земли, от праха, от тлена, что это не святая милость во Христе, не духовное попечение и пастырская жертвенность. Не оттого сердцу так глубоко дышится, что коснулось его дохновение неба и раскрылось в нем то большое светлое чувство, которое зовется христианской любовью! Именно оттого так больно и сильно бьется сердце, что не расширилось оно духовным переживанием, а стеснилось, сжалось плотским чувством, пленилось душевной привязанностью по-человечески; по земному, тленному влечению потянулось сердце к сердцу. И все это тяжелое, не способное оторваться от земли, даже противящееся этому, непригодно, чуждо для вечности.

Да, может быть, все началось с добрых и неукоризненных чувств, но наш эгоизм и самовлюбленность не оставят ни одно сердечное расположение, сильное движение быть в простоте и святости, если оно не будет осолено смирением, укрощено самоукорением, ограждено недоверием к себе! Самовлюбленность со всего проходящего через сердце, стремится сорвать свой оброк, заставить питать себя, старается «завербовать», сделать своим слугой, данником. Сразу же вслед за чувством расположения в сердце усиливается проникнуть (вернее, в самом сердце возникает) эгоистическое желание сделать этого «такого милого, хорошего» человека «своим», своей собственностью, им украсить, обогатить свою жизнь в мире сем. Умилившись обнаруженной нами красотой, мы непременно хотим, чтобы это прекрасное имело ближайшее отношение к нам самим, хотим вселить его в наш собственный дом или сад, как какое-то редкое украшение.

Если человек не отрекся еще себя пред Богом, не отказался до конца от выявления и запечатления своей «личности» (на самом деле – самости, индивидуальности, своего «эго») в тленной сей области бытия, то он всегда жаждет и не находит той «достойной» души, перед которой он мог бы заявить о своей особенностях, своей неповторимости. Чаще всего мы разочарованы этим миром, мы пытались, но потеряли надежду «блеснуть» собою пред очами человеческими; однако скорее не потому, что разлюбили себя, не находим в себе

достоинств, а потому, что «не обретаем способных и достойных ценить наше богатство». Встречая в людях много уродливого, больного, недостойного, мы накапливаем некоторое презрение к миру сему, и нам уже легче не возлагать на него надежд, не желать искать в нем области приложения своих сердечных движений, своей «необыкновенности», и мы «устремляемся к духовному», начинаем чувствовать, что только там, «в какой-то таинственной небесной дали, наша личность сможет по-настоящему раскрыть себя».

Но встречается милая, такая располагающая к себе душа, мы неосторожно залюбовались ею – и вот тот таившийся змей, скучавший среди груды обломков нашего прежнего языческого капища, некогда гордо возвышавшегося на видном месте нашего мнения о себе, теперь оживает и выпускает весь свой скопившийся яд, парализуя сердце, лишая рассудок духовного зрения. Появляется сильная тяга выйти опять в этот мир, опять ожить земным, теплым, даже жарким человеческим чувством; теперь же, здесь же – вот перед этим «милым» человеком раскрыться, выйти к нему со всеми своими силами, чувствами, которые так долго загонялись в дальний угол и содержались весьма скудными подачками.

Каждый духовник, священник, духовный наставник, если он не отрекся себя вполне в мире сем, скорее всего не обойдется без подобного искушения. Дело в том, что каждый из нас – прекраснейший, способнейший «музыкант» – может, если наладится, сыграть, спеть красивейшую песнь, особенную, неповторимую. Но все дело в том, куда мы направим это свое богодарованное искусство. Всегда есть соблазн для падшего человека спеть и сыграть здесь же, сейчас же, обрести ценителей, слушателей среди близких нам душ. Здесь вовсе не любовь к другому, нет! Здесь человек находит что-то таинственное, прекрасное, нравящееся ему и желает, как на дорогом музыкальном инструменте, испробовать опять себя, свое искусство, воплотить через это заманчивое изящество опять переливы, игру своих собственных сердечных движений и чувств. Все мы видели не раз, как в древних храмах во времена гонений и запустения бывали на фоне прекраснейших фресок,

на самых даже видных местах, поверх изящных искуснейших линий и красок, выписанных рукою смиренного древнего мастера, грубо и размашисто выцарапаны, выведены, намалеваны яркой заборной краской чьи-то ничего не говорящие имена, даты или места жительства. Иногда такие заявления: «Здесь был Вася в ... году», «были Саша и Борис из города N» и тому подобное. Что это? Почему не на заборах, не на стенах домов, а поверх драгоценных, древних фресок, да еще на самых видных местах? Варварство? Дикость? Но ведь не один, не два случая – повсеместна, очень распространена эта болезнь! И, конечно же, то же самое, только в более скрытых, утонченных формах таится и в наших сердцах. И мы, может быть, не желая признаваться в этом самим себе, испытываем тяготение «поставить свое имя», громко заявить о себе, запечатлеть себя на переднем плане, когда встречаем что-то заметное, прекрасное, привлекающее. Ведь и эта болезнь – сниматься на фоне известных зданий, разных диковинок, египетских пирамид и индийских слонов, горных вершин, знаменитых водопадов, рядом с известными людьми – откуда она? Таким образом, когда мы любим человека не во Христе, мы обязательно любим не его, а себя в нем, хотим видеть в нем не его самого, преклоняться не перед его красотой, а любоваться своим отражением в нем, как в зеркале, украшенном дорогой рамой; мы не восхититься хотим этой возвышенной картиной, а уже спешим нацарапать поверх нее свое имя.

Но все это сокровенно, искусно прячется под личинами самыми благообразными: просто появляется у духовника интерес заниматься, «работать» с этим вот человеком, таким «любопытным», «интересным». «Кажется, из него будет толк», «похоже, его многому можно научить», «нельзя не помочь ему раскрыть свой талант в духовной жизни», «никто, кроме меня, ему не сможет теперь помочь», «я не имею права теперь отвернуться от него», «Сам Бог ждет теперь, чтобы я помог спастись этой заблудшей овце»... Но все это пока не обнаруживает скрытого коварства. Только какой-то внутренний голос подсказывает, что «здесь что-то не то». Но другие голоса

стараятся его заглушить, перекричать и кричат так красноречиво, так возвышенно-поэтически! И прозаические выступления скоро отходят на задний план и уже оттуда продолжают навевать душе какие-то тревожные, неприятные предчувствия...

Еще: человек, удостоившийся священнического сана, тем более еще и монах, тем паче начитанный, да еще если с живым, энергичным умом, красноречивый, но без действительного опыта духовной жизни, ведь он часто жаждет, ищет «достойных учеников», скорбит, что его не слышат, что нет тонких, способных чад, которые могли бы по достоинству оценить его способности, уловить все изящные, прекрасные переходы его мысли и слова, вдуматься, вчувствоваться во все то, что он мог бы так талантливо изобразить, расписать, проиграть и пропеть. И вот вдруг обретаётся такая хорошая, мягкая, пластичная глина – и скоро уже заждавшийся, «заскучавший по большому творчеству скульптор» принимается за ваяние: месить, мять, лепить, убирать лишнее, снова накладывать пласты мягкого пластика, прорезывать линии, закруглять формы. По временам он отходит, смотрит, прищурив глаза, опять спешит к предмету своего внимания и заботы. Иной раз для отдыха и для забвения подолгу смотрит в окно на зимний пейзаж, но это только для того, чтобы еще яснее увидеть потом свое произведение, с еще новым приливом чувств продолжить самовыражение.

Поначалу обе стороны обрадованы, воодушевлены: идет какая-то «серьезная духовная работа», открываются как одному, так и другому «весьма любопытные глубины» души, завязались «интересные духовные отношения». «Чадо» радо, что нашло того, кто так озаботился, заинтересовался его «внутренней жизнью», – человека, которому так важно и дорого то, что сокрыто в самой его глубине и никогда никого до сих пор не интересовало. Теперь они вместе с «духовным отцом» внимательно разбирают, подробно рассматривают «те старые открытки, альбомы, рисунки» – затаенные образы и впечатления, которые были дороги душе, но которые она скрывала, никому не показывала. И как она отягощалась тем,

что столько имела, но никому не могла открыть, – и вот все это пересматривается, разбирается; как благодарна душа, что она наконец-то вырвана из этого душного одиночества, скорбного молчаливого «скитания по чужому городу, среди чужих, холодных людей, занятых только собой». «Отец» полон забот и настроен крайне самоотверженно, готов «с голыми руками идти против волчьих зубов ради этой бедной своей овечки», как «добрый пастырь», не пожалел бы разбить ноги в кровь, если бы его милая овечка заблудилась в горах, но отыскал бы ее и принес в дом свой!

Итак, одно нездоровое расположение смешивается с другим, болезненным же, и прикрывается им, и бывает уже трудно проследить и выявить, что было прежде и что потом, и что от чего рождалось, и что от чего заболело. «Скульптор» все более увлекается, но уже замечает, что «статую», которую он так заботливо лепит, он хочет иметь только для себя и ваяет он ее по собственному своему «образу». Отдаленный голос продолжает донимать своими прозаическими короткими заявлениями, и душа нехотя не может не согласиться, что голос этот прав, хотя и говорит настолько лаконично, что все проблемы и муки объемлются одним-двумя короткими, однако весьма содержательными и многое объясняющими словами. Но согласиться – значит бросить, разрушить все, то есть все это ваяние, огромное высокое сооружение, к которому уже приросло сердце, вернее, в которое сердце вплелось, вжилось, без которого уже не мыслит свое бытие...

Но вдруг наконец оказывается, что «глина» уже не желает так легко поддаваться, принимать именно ту форму, те линии и округлости, которые пытаются ей налепить: она уже противится, она уже чувствует, что «ее гнетут», что ей, кажется, лучше было быть дикой и одинокой, чем вот так вот втискиваться в чуждые формы и, разделяя одиночество, попадать в рабство. Скульптор негодует, делает большие усилия, накладывает новые «мазки» или епитимии «за непослушание». Начинается «брань», но далеко не «духовная». Какая-то невидимая рука рушит все то, что лепилось, строилось с таким усилием и ревностью, она же правит все в ином направлении, дает иные черты, как будто

отнимает у скульптора его «детище» и лепит что-то иное, по иному образу. Кто это? Что за неведомая сила так властно действует? Он думает, что это «страсти», что это та жесткая, злая примесь, которую надо удалить из глины, и она сделается окончательно послушной его руке...

Здесь начинается борьба с Богом – присвоение себе того, кто принадлежит единственно Ему! Нет, надо скорее отдать, отдать этого человека Богу – истинному его Отцу, Тому, Кто совершенно свято любит его, Чей образ он являет и Кто один только может очистить в нем этот Свой образ, восстановить его природную красоту, ваять и оттачивать это Свое творение до подобия Себе, привести к обожению! Надо отдать целиком, не уворовывая себе ни малейшую частичку не принадлежащего нам.

Как учит святой Игнатий, здесь надо встать на колени и говорить Господу: «Господи, этот человек, которого я думал так любить, думал так уважать, которого называл, обманываясь, моим, – Твой, Твое создание, Твоя собственность. Он Твой, Всеблаготворца и Владыки своего! Ты всеблаг: хочешь устроить для него все благое. Ты всемогущ: все можешь для него устроить, что ни восхощешь. Ты всепремудр: путей Твоих духовных, судеб Твоих исследовать, постичь человеку невозможно... А кто – я? – Пылинка, персть земли, сегодня существующая, завтра исчезающая. Какую могу принести ему пользу? – Могу лишь более повредить ему и себе моими порывами, которые кровь, которые грех. Предаю его в Твою волю и власть! Он уже есть, всегда был в Твоей полной воле и власти; но этого доселе не видел слепотствующий ум мой. Возвращаю Тебе Твое достояние, которое безумно похищал я у Тебя обольщавшим меня мнением моим и мечтанием. Исцели мое сердце, которое думало любить, но которое только больно, потому что любит вне Твоих святых заповедей, с нарушением святого мира, с нарушением любви к Тебе и ближним»⁶⁴.

Несчастные! Кого, куда мы пытаемся тянуть своими собственными усилиями? Если бы кто-нибудь стал с напряжением тянуть вверх только что пробившийся из земли росток яблони, неужели бы этим ускорил его рост? Просто

повредил бы корни. Что мы можем сделать для этого саженца? Только поливать (и то в меру), окапывать почву вокруг корня (и то осторожно), еще можем прикрыть в сильный мороз, изредка обрезать лишнюю, отягощающую ветвь, – все же остальное не от нас! Только Господь неведомыми для нас, сокровенными судьбами, какими-то таинственными процессами – там, в глубине, – живительными соками питает и направляет жизнь, ускоряет рост, дает повеление раскрываться почкам, распускаться листве, цвести, завязываться плодам, напояться ароматной сладостью, румяниться привлекательной краснотой. И все это непостижимо, чудесно, прекрасно! Что здесь от нас? Человек может создать лишь подобие цветка из бумаги, из пластмассы – без запаха, без дыхания, без жизни. Может нарисовать на холсте плоское подобие плодов, дерева или леса, этим выразить свое восхищение Божиим творением. Но он не может *прибавить себе росту хотя на один локоть*⁶⁵, даже очень «заботясь» об этом. Все ключи – у Бога.

Итак, устранимся, встань в стороне, займись собой, умерь, пока не поздно, для всего, для всех, чтобы ожить тогда, когда будут оживать и воскресать жившие не для земли, полюбившие вечность, когда будут воскресать для вечной смерти не желавшие смерти здесь, любившие тленную жизнь. Если и придется, по воле Божией, заботиться о другом, то будем только «поливать», «рыхлить землю у корней», но почти не прикасаться к самим корням, стволу, ветвям. Если когда созреет плод и нас угостят (самим же не срывать: мы садовники не в своем саду), с благоговением примем, перекрестимся и поблагодарим Господа. Но не дай Бог хоть краешком тайной мысли приписать сладость плода горечи своего труда!

Хижина при дороге

Пристрастие к человеку! На самом деле трудно не человека оставить, не от него самого отказаться, не его отдать Богу, а трудно нам отречься от себя самих, себя вычеркнуть из жизни нравящегося нам человека – уйти, исчезнуть из его мира, умереть для него, уже не значить так много для него. Здесь, как тело имеет своим домом, своей областью бытия этот видимый, материальный мир, так душа ищет свою область бытия, которую она потеряла, ибо она духовна и средой обитания ее может быть только духовное. Жизнь ее могла бы получать все потребное только в общении с Богом; удаляясь от Него, душа голодает, нищенствует, наготует, бродит в мире сем вещественном, как чужестранец, всеми отвергаемый. И вот душа начинает прилепляться то к одной душе, то к другой. Здесь страшный самообман, тяжкая болезнь: душа пытается найти в другой душе какой-то свой мир, в котором она могла бы раскрыться, развернуть свои яркие способности, выявить потаенные богатства. Мы шли из этой далекой, холодной страны изгнания по каменистым дорогам чужбины в родную сторону – туда, где только мы и могли бы быть счастливы и жить вполне, найти приложение всех своих дарований и богатых возможностей; но вот по дороге встречаем маленький уютный садик и жаждем войти в него, замедляем в нем – и уже не хотим выходить опять на одинокую, пустынную тропу. Уже разнеживаемся и это крохотное временное утешение предпочитаем вечному блаженству. И вот, оставить этот маленький оазис в пустыне – теперь это как будто смерти! Это значит опять отречься души своей в мире сем, опять обречь себя на одинокое, бездомное скитальчество. А так жаждется уютной теплоты, маленького, земного «счастья»!

Если человек тебе мил и твое сердце потянулось к нему – это вовсе не значит, что ты любишь его: ты сам вскоре заметишь, если продолжится твоя тяга к нему, какие коварные, даже тиранические притязания явит душа твоя в отношении к этому «дорогому» тебе человеку, увидишь, как душа твоя

старается поработить, пленить душу этого близкого, как не терпит его независимости от нее, как ревнует и требует влюбленности в себя, рабской преданности, как готова будет мстить за охлаждение этой привязанности. Значит, здесь все – на любви к себе самому, на расширении собственных «владений» в мире сем. Скорее всего, ты нашел в этом «милом» человеке некую дверь в новый для тебя, любопытный, интересный и приятный твоему сердцу мирок, и тебе захотелось сначала полюбоваться им, а затем уже и поставить там свою хижину; ты ходишь по этому саду, но любишься даже больше не его насаждениями, а самим собой: это новый интересный фон, который живописно подчеркивает твои собственные достоинства, которые терялись на сером фоне обыденных отношений. Ты находишь новый мирок, как бы новый, красивый костюм, и рядишься в него: видишь себя заново, столько привлекательного находишь в себе, чего раньше даже не замечал. Ты в этом «дорогом твоему сердцу» человеке нашел тонкого ценителя своего искусства, тебе приятно посредством его быть зрителем и слушателем собственного представления. И чтобы победить это искушение, надо не что иное, как смириться! То есть возненавидеть душу свою в мире сем!

ПрОпасть – ошуюю, пропасть – одесную

Как странно: две опасности, одна больше другой...

Многие из тех, кто приходил в обитель, с самого начала выказывали некую холодность в молитве, не искали внутреннего усовершенствования, сердечного умиления, жалели себя, давали себе на каждом шагу льготы, своевольничали и наконец совершенно расслаблялись и скучали и, конечно же, уходили назад, в мир, сильно расстроившись и порядком попортив нервы всем оставшимся братьям. Другая беда – большинство из тех, кто брался ревностно за молитву, много читал, пытался разобраться в своей внутренней жизни и вообще проявлял особое старание, желая скоро идти вперед, довольно часто впадали в глубокое надмение, осуждение и так же расстраивались. Таковые повреждались еще страшнее – некоторые психически, и весьма серьезно.

Причина, конечно, ясна – отсутствие послушания, самодеятельность в делах духовных, неимение опытного духовного руководства. Многие современные обители начинаются на пустом месте безо всякого духовного опыта, и весь запас начальных знаний и разумений – самый поверхностный и мечтательный. Настоятель, чаще всего, такой же «не оперившийся птенец» в отношении духовного возраста, как и братья. Даже при начитанности и теоретическом знании основ монастырской жизни, еще очень и очень многого не хватает для того, чтобы каждый отдельный случай понять и разобрать верно. Шаблонные приемы никак не принесут плода. Каждый человек – глубочайшая тайна и совершенно неповторимая судьба, у каждого свой особенный путь, к каждому необходим свой ключ. Без тончайшего духовного чутья, без большого опыта внутренней жизни никак невозможно кого-либо вести по пути спасения. Если настоятель не имеет серьезного опыта молитвы и внутренней брани, если он еще не имеет успехов в этой духовной области, при всей своей смекалке и начитанности, при всем красноречии и

благожелательности будет постоянно делать ошибки и промахи, пытаясь руководить братией.

Невероятно странные вещи могут происходить с братьями в их монастырской брани, никакая логика и книжная наука не дадут возможности предусмотреть, что и куда клонит их души, пока само время не изобличит неправильности в делании. Даже когда такой неопытный руководитель по теоретическому знанию и исходя из некоторой наблюдательности своей и заподозривает что-то неладное и даже обращает неоднократно внимание брата на это подозрительное, то все-таки некоторая неуверенность в правильности диагноза, недоверие своему суждению, к тому же боязнь приписать ближнему свои слабости и свой собственный внутренний опыт (в котором он также не имеет уверенности) – все это делает его руководство вялым, ненастойчивым, допускающим со стороны брата достаточную вольность и пренебрежение данными советами. В результате – каждый учится ходить сам, разбивая свой нос и не раз оказываясь на краю самой бездны.

Опасности со всех сторон, мера среднего пути такая тончайшая, а малейшее отклонение заводит слишком далеко в сторону, так что, думается, самым эту меру не найти! Нужен живой опыт поколений монахов, нужно иметь серьезную духовную связь с теми, кто учился идти путем монашества у отцов предшествовавших. Сами же мы – в лучшем случае – сможем приобрести лишь малый опыт только через десятки лет, если будем упорно искать с великой осторожностью, на ощупь, опять же не раз преткнувшись и не раз зашибясь до крови. Заранее надо ожидать тьму таких ошибок и поползновений. Ум на этом пути – самый слабый и ненадежный пособник. Скорее всего, остается чувство крайней своей немощи, во всем уродства и неладности, жалобное взывание к Богу о помощи и о прощении ежеминутных ошибок и погрешностей.

Чтение святых отцов имеет здесь большую цену, но применение на деле советов отцовских так же крайне непросто и представляет для нас сложный лабиринт со множеством ходов, коридоров, дверей и гаданий, в какую же войти. Совет с другими монахами имеет большую цену, но опять же немалая

трудность найти такого отца, которому можем верить и опыт которого непрелестен. Даже если находим такого помощника, не должны пытаться приписать ему сразу же «духоносность» и ждать от него «вещания с небес». Нужно сначала понять, какие у нас могут быть отношения с таким духовным пособником: на уровне совета, духовного доброжелательства, или мы действительно видим в нем духовного старца и имеем достаточно веры отложить всякое свое суждение и целиком предаться послушанию. Ведь и в таких отношениях возможно множество подделок и ложных состояний.

Устроенных обителей нигде поблизости нет. Есть в мире опытные духовники, но заочно решать проблемы и возникающие в монастыре недоумения весьма непросто. Всякое затруднение всегда, кроме одного-другого обстоятельства, включает в себе еще тысячу разных тонких деталей, которые имеют на самом деле немалое значение в решении вопроса, – все их надо учитывать и взвешивать. Часто бывает, что задумывается много хороших, как будто полезных дел, которые в главных чертах кажутся вполне оправданными и целесообразными, но именно какие-то едва заметные на первый взгляд «нюансы» делают эти дела либо несвоевременными и неисполнимыми, либо и вовсе вредными. Просчитать умом, вычислить, «разложить по полочкам» логически какое-либо дело – еще ничего не значит. Только человек с действительно духовным опытом и находящийся в правильном внутреннем настрое, хорошо понимающий суть монашества, может дать здесь точные указания.

Как часто теперь устраивать жизнь в монастырях и руководить ею берутся люди, которые вовсе не пытались даже шагу сделать по пути подлинного монашества. Надо быть очень осторожным в выборе того, кому можно верить в вопросах монастырских. Но несомненно, что ищущего на самом деле спасения и не соглашающегося с лукавыми советами нашего падшего «я», не удовлетворяющегося стремлением лишь к обманчивому покою, но восходящего всегда к большему и настоящему – такого человека Бог не оставит: подаст ему через ближнего нужное слово, откроет коварство, задуманное врагом.

Главное же, не верить и не верить себе. Уж где враг, где зложелатель – так это в нас же самих: в нашей лукавой совести, в нашей самости. Если мы и бываем обмануты, если и примем чей-либо душевредный совет, то и здесь не вся вина в том, кто недобро насоветовал, а прежде всего в нас. Мы сами уже прежде склонились внутренне к лукавству, оттого и прельстились фальшью. Чаще всего мы любим помышлять так, будто кто-то нас со стороны все время влечет в пагубу. Но, если честно разберем свои помыслы и желания, увидим, как часто вполне сознательно идем на преступления, ясно понимая, что это пагубно и в вечности явится как невыносимая мука, но прямо соглашаемся на это зло, в глубине сердца отрекаясь от вечной жизни. Вот где первый враг.

Поэтому каждый сам прежде всего должен искать трезвости и выверять все свое через ближнего. Ближний здесь зеркало: всматриваясь в свои отношения с ближним, тем более с духовником, довольно четко можем видеть, кто мы есть в данный момент и где на нашем лице грязь, где рана, где изъян. Не духовник должен гоняться за своими подопечными и настойчиво предупреждать и остерегать их от опасных уклонений – братия должны иметь к себе самим крайнее недоверие и стараться всячески себя проверять через духовника. Короче говоря, с обеих сторон – как со стороны руководящих, так и со стороны руководимых – необходимы крайнее недоверие к себе, бережное и осторожное отношение друг к другу, отсутствие излишней требовательности, покрытие немощей и ошибок друг друга, а также памятование о том, что, где двое или трое собраны во имя Христово, там и Сам Господь посреди них⁶⁶. Все наши немощи с обеих сторон могут быть покрыты и восполнены благодатью Божией, когда в нас будет недоверие к себе, предпочтение ближнего, когда наша самость отступит и даст место действию Божией благодати. Иначе – тьма беспросветная!

Святые отцы, которые сами стяжали дар умной молитвы, говорили, что для руководства другим в этом делании, для контроля над ним необходимо видеть его лицо и слышать его голос. По выражению лица и по интонации голоса отцы умели

примечать тончайшие оттенки внутреннего расположения молящегося и вовремя пресекать порывы прелестные, возвращать подопечного на путь верный. Но мы, как сами не имеющие точных понятий и деятельного опыта в умно-сердечной молитве, хоть бы и пристально вглядывались в лицо брата и слушали его голос во время молитвы, что поймем? В самих себе не умеем отличить здоровое от лукавого и постоянно колеблемся между разного рода наслоениями прелестного и мнимого. Потеря преемственности монашеского делания, забвение науки внимания к себе и предстояния пред Богом – это такой недостаток наш, что можно почти отчаиваться в положении современного монашества.

Впрочем, у Григория Двоеслова в его «Собеседованиях» есть на этот счет некоторое утешительное для нынешнего времени замечание. Диакон Петр, беседуя со святым Григорием, задает вопрос об игумене Гонорате, который был руководителем почти двухсот отшельников в монастыре, им самим же и основанном. Причем, как видно, он прежде того ни у кого из монахов не обучался монашескому образу жизни. Диакон Петр, недоумевая по этому поводу, спрашивает святого отца: «Я думаю, святой отче, что не мог же этот славный человек сделаться руководителем других, если сам прежде от кого-нибудь не принимал наставлений?». Святой Григорий отвечал: «Надобно знать, что дары благодати Духа Святаго иногда и необыкновенным порядком сообщаются людям. По обыкновенному порядку следовало бы так, что тот не может быть начальником, кто не учился повиноваться, и повиновения внушить подчиненным не может тот, кто сам не умеет повиноваться высшим. Но есть люди, которые получают такое внутреннее просвещение от Святаго Духа, что хотя они и не пользуются внешним человеческим руководством, но зато постоянно присущ их духу внутренний наставник – Дух Святой. Только люди, нетвердые в добродетели, не должны брать себе за образец этой, высшей обыкновенных законов, жизни святых мужей, потому что, в противном случае, кто-нибудь легко может возомнить о себе, что и он исполнен Духа Святаго, станет пренебрегать человеческим наставлением и впадет таким

образом в заблуждение. Впрочем, душа, исполненная Духа Святого, имеет в себе самые очевидные признаки этого преимущества, именно: высокую добродетель, соединенную со смирением, так что если сими качествами в совершенстве обладает душа, то это и служит очевиднейшим доказательством присутствия в ней Духа Святого...»⁶⁷.

Ясно, что никто из нас не может смело надеяться на такое «необыкновенным порядком» сообщаемое просвещение для способности вести братий по пути спасения и научать их монашескому искусству. Однако утешительно то, что в особых случаях, когда прервана преемственность, благодать Духа может вдохнуть жизнь в братское собрание «необыкновенным порядком». Как видно, опять все упирается в смирение и осознание своей крайней немощи. Это есть главный прием для нас – основной признак, которым необходимо постоянно выверять свое духовное расположение, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево: «Истинным, неложным признаком правильности духовного устройства является глубокое сознание своей порчи и греховности, сознание своего недостойнства милостей Божиих и неосуждение других. Если человек не считает себя от всего сердца, а не языком только, непотребным грешником, тот не на правильном пути, тот, безо всякого сомнения, находится в ужасной слепоте, в прелести духовной, как бы люди ни почитали его высоким и святым, хотя бы он был и прозорлив, и чудеса творил», – писал игумен Никон (Воробьев) в 1952 году⁶⁸.

Разожги беду

Кажется, сегодня невозможно уже требовать от тех, кто приходит жить к нам в монастырь, каких-либо категоричных, строгих и неизменных правил жизни. Уже, как в миру, где христиане имеют много свободы и должны многое сами обдумывать, искать, выбирать, когда уже никто не может строго и точно указывать им, как приспособливаться к сложным условиям современной жизни, когда каждому приходится большей частью руководиться собственной силой ревности и голосом совести, внутренним тяготением к благочестию, – так, видимо, и в современных обителях по большей части просто невозможно расписать ясный и строгий чин поведения и многое зависит уже от собственной ревности о спасении.

Причин множество: во-первых, отсутствие опыта и духовного руководства. Неопытный настоятель, если возьмется все вписывать в четкие рамки, то и свои немощные понятия этим самым возведет в некие законы, которые будут мешать, а то и сильно вредить братии. Во-вторых, сама жизнь вокруг стала настолько хаотичной и неконтролируемой, что однообразные правила и законы просто невозможно сохранять и почти все время приходится подстраиваться к меняющейся ситуации на ходу. Конечно, очень удобно спасаться в условиях четко расписанных правил и непоколебимого устройства, внутреннего строгого уклада монастырской жизни, но это, однако, делает братий несколько беззащитными, не способными повести себя мудро и разумно в условиях новых и беспорядочных, а таких ситуаций приходится ждать каждый день. Хотя раньше в монастырях все было иначе, но нашему времени уж и «закон не писан». Раньше монастырь действительно ограждал от искушений, создавал прочные, надежные, долговременные, весьма удобные условия для внутренней жизни. Теперь и монастырь немногим отличается от мира и часто даже более является мишенью для стрел разного рода соблазнов, чем приходские храмы в городах.

Каждый христианин сегодня, каждый монах – как бы среди пламени, как отроки вавилонские в печи: одно чудо Божие хранит ищущих спасения и разве что ангельским ограждением верующий охраняется от испепеления в этом седмижды разожженном пламени. Тут уже, скорее, у каждого идет своя одиночная борьба, единоборство с врагами – вне и внутри. Уже почти нигде не идут в бой рядами, крепко стоя плечом к плечу и протянув вперед копья и мечи. Но каждый «кувыркается» в одиночном поединке с окружающим его соблазном, пытаюсь вырваться из цепких, удушающих объятий. Почти уже каждый верующий пробирается – кто как горазд – через колющие заросли, без дороги, часто и без тропы, наугад, часто «на свой страх и риск», через овраги, по краю пропастей. Наставники? Но и наставники по большей части так же в жестоком поединке, со всех сторон оплетены жестокими соблазнами, вползающими в душу коварными змиями, едва-едва отбиваются от непрерывного нашествия зла. Наставники уже по большей части только указывают общее направление пути и слабыми, изможденными голосами пытаются поддержать дух бодрости, призвать к продолжению схватки, хотя бы предостеречь от основных видов опасностей. Далее – опять каждый на себе самом познает все коварства духовной войны.

Спасаются явно не по писаному и расчерченному по линейке плану, переходят не по утоптаным тропам, даже не следуя мудрым, рассудочным расчетам и собственной смекалке, а одним чудом Божиим, одним только жалобным взыванием и отчаянным воплем к небу, – стало быть, смиренным признанием полного своего бессилия и ничтожества. И это неспроста, что никакие мудрые наши распорядки жизни и четко расписанные по табличкам монастырские правила долго не выдерживают и часто с грохотом рушатся, превращаясь в груды развалин. Правила необходимы, но и в них наше гордое, самонадеянное сердце порой ищет опору ложную; и в этих чинах и строгих законах – опять наша самость и упование на свою праведность. «Исполнили», «вычитали», «по часам все разложили» – и упокаиваемся, как фарисеи, почивавшие на букве закона. Как будто в этой правильности и состоит

праведность. И так повсюду: вслед за нашей чинностью следует не живая вера, а усыпление совести. Не хотим мы носить в сердце чувство своей окаянности, оттого чаще всего и трудимся. Трудимся, чтобы совести своей плеснуть в лицо этот усыпляющий напиток нашей правильности и чинности. Святитель Феофан учил: «Надо зажечь беду вокруг»⁶⁹. Что значит это? То, что плохо с нами все, все плохо, погибаем, горим, – спаси, Господи! Помоги! Гибну! Ничего не могу, все мое собственное – ложь, обман, прелесть! Ты, только Ты можешь спасти меня! Нет во мне ничего доброго, ни малейшего добра, ни капельки-капельюшечки добра нет во мне...

И этот путь теперь один – и для мирян, и для монастырских. Путь лежит через глубокое познание своих немощей, и этот путь не укладывается в расчеты и предусмотренные планы. Каждый день нужно быть готовым потерять все, о чем думал, будто имеешь, и начать собирать сначала, чтобы наконец остаться ни с чем, нищим! Но в этой только нищете и можно ожидать богатства. Странный путь! Раньше этой нищете учили монаха сами стены обителей, весь их строй жизни, отцы и наставники. Сегодня часто и «наставники», и братия обители учат иному: давать цену и искать чего-то в себе самом и рядом с собой, учат обогащаться и «стяжевать» в области далеко не нетленной. Сами стены обителей, их украшение, даже чины и распорядки тоже становятся нередко именно накопительством и обогащением – и опять не в том мире, что «не от мира сего». Вот и приходят скорби и печали, падения и потери, чтобы мы вправду любили нищету, в самих себе ни на что не полагались и не надеялись.

Мы скорбим, что нет теперь той древней строгости и чинности в стенах монастырских. Но законно ли, своевременно ли искать и требовать от себя внешней строгой правильности? Способна ли душа понести безвредно эту внешнюю правильность? Ведь должно быть определенное равновесие между внешним подвигом и внутренним, иначе человек становится фарисеем. А теперь как-то особенно заметна у всех склонность именно к такому вот фарисейству. В общем, требовать многого и от себя, и от братий бесполезно: это лишь

безуспешная потеря сил и окончательное разрушение душевного мира, к тому же и порядочная «нервотрепка». Из нас никто уже почти не способен отдаться целиком внутренней, духовной работе, и едва находится такой, кто хоть десятую часть своей жизнедеятельности чисто и без остатка посвящает Богу. И никакими нажимами и требованиями невозможно принудить человека отдавать больше, отречься от мира категоричнее, в большей мере презреть все свое и возненавидеть себя, если это не произойдет добровольно, когда душа сама каким-то непостижимым путем придет к высшему самоотречению: насилие лишь вызовет бунт, крайний протест и, может быть, человек вовсе побежит вспять.

Святой Игнатий Брянчанинов советует иметь определенную снисходительность к своей душе: «Не должно с души своей, с своего сердца требовать больше, нежели сколько они могут дать. Если потребуете сверх сил, то они обанкротятся, а оброк умеренный могут давать до кончины Вашей»⁷⁰. Сам Господь ищет нашей добровольной и свободной любви к Нему и в утверждение ее ждет от нас некоей жертвы самоотречения, но никогда не принуждает и не неволит никого. Тем более кого можем неволить мы? Здесь можно предложить братьям (да и себе самому) лишь определенные условия, удобства, направления и все благоприятствующее пробуждению души, ненавязчиво усовещивать свою душу и души братьев, кротко и участливо уговаривая их отвлечься от безумия, обращения же их ждать терпеливее. В общем, методы похожи на те, которые применяют, когда ухаживают за больными детьми и терпеливо сносят тогда все их капризы и слабости.

Определенная свобода даже неотъемлема от принципа подвижничества. В самом раю росло запретное древо познания добра и зла, без которого выбор свободы был бы невозможен. Идти, действовать, отвергаться себя, брать много или мало – все это должно быть в выборе самого идущего к Богу. Так и в соревнованиях по бегу: улаживают дорогу бегущим, ограждают ее от праздной толпы, подбадривают состязающихся возгласами, но никогда не толкают в спину и не тянут за руку. В нашем случае, конечно, допустимо и толкание, и потягивание за

руку, но все с тем же условием ревностного желания самого человека стремиться вперед.

Вспомнить, кстати, случай из жития святого Пахомия, как трапезарь в отсутствие игумена перестал подавать на братскую трапезу вареную пищу и клал лишь овощи, оправдываясь тем, что братия все равно всегда постятся и вареную пищу почти не трогают, так что приходится ее выбрасывать. Святой Пахомий строго обличил брата, сказав ему: «В этом случае воздержание иноков не было уже делом их свободного произволения, а следствием необходимости: никто уже не имел возможности проявить свое усердие, все постились поневоле. Я бы предпочел приготовить кушанья разных видов и сварить всякого рода плоды, поставить все это пред братиями, чтобы им, если они будут обуздывать свои желания и добровольно, ради подвига, отказываться есть это, совершить великое и доброе дело пред Богом»⁷¹.

Ну а что, если пришедший в обитель так никогда и не разгорится большей ревностью, но лишь помалу будет тлеть? Такому бы и не приходить в монастырь! Но, что делать, ведь мы и все почти такие теперь. Уж и не для больших расчетов бежим в монастырь, а лишь сбегая от всепожирающего пламени разросшихся греховных соблазнов, от падения во все глубины зла. Странное и нездоровое положение, состояние какой-то подвешенности между землей и небом. Но явно, что по человеческому мудрованию ничего не исправишь; надо ждать и молиться: может быть, произойдет чудо и Сам Господь растеплит в наших сердцах некоторое рвение и тягу к духовному. И растеплит, если душа смирится и признает свою немощь и всесилие Бога!

Сегодня уже многое и важное в жизни обители врачует Сам Господь – непостижимо, неприметно. По сути, игуменов, настоятелей, предводителей уже нет. Те, кого мы зовем настоятелями, теперь чаще всего просто распорядители внешнего чина и распределители монастырского имущества. Игумен же – Сам Господь, таинственно, непостижимо промысляющий о каждом, пришедшем в обитель, о каждой скорбящей душе, желающей, ищущей того древнего монашества

и нигде его не находящей, даже в самих наших монастырях. И вот в странных каких-то искушениях, падениях и восстаниях, в бесконечном нагромождении тяжких испытаний, препятствий, соблазнов, частых преткновений, при внешнем как будто отсутствии всякого порядка и чина в жизни, при отсутствии не то что гладкого пути, но и едва угадываемой тропы – во всем этом душа познает и себя, свою немощь, познает таящееся в себе предательство, изведывает всю глубину своего падения и падения всего рода человеческого и только потом может начать медленно восходить на путь искания Бога.

Вот и от самих настоятелей сегодня более всего требуется самоотстранение, самоотвержение, осторожность, ненавязчивость, недоверие себе и предоставление вести братий Самому Господу, Который ведает все и знает, что именно нужно каждой отдельной душе. Настоятель лишь «подстраивается» под то, что творит Господь, лишь оберегает и опекает дело, создаваемое Всеведущим Игуменом, он сам не врач, а только санитар или «медбрат». В среде наших наставников даже «самые мудрые» и «учительные» и те крайне немощны духом. Все более и более мы нуждаемся в непосредственной Божией помощи, в недоверии самим себе, в ненадеянии на свою «ревность», свою «мудрость», «свои силы». Это для настоятеля! Тогда и братиям безопаснее являть послушание и самоотвержение перед таким наставником, когда он сам не верит в себя!

Грустно почему-то

Иной «вожак стаи» сегодня так навредит бедным гусям... Смотрел он, любовался высоким ясным небом, увидел как-то высоко-высоко летящий на юг стройный караван диких своих сродников и все теперь ревнует их свободе, их стройности, их смелому полету и красоте.

И вот сам уж рвется в высоту, настойчиво машет своими короткими, зажиревшими крылышками, подпрыгивает на неуклюжих, плоских, распластанных по земле лапках, много-много производит шуму – того и гляди полетит... Увлеченный этими потугами, уже зовет широким, натруженным клювом своих подопечных собратий, зовет ввысь, «на просторы неба» – то пронзительным, звонким зазывом, то крякая, то покрикивая, корит их за медлительность, за леность, за привязанность к загаженному птичьему двору, за порабощенность чревом, «этой маммоной», которой так полюбилось здешнее, часто наполняющееся «само собой» корыто с приятными крошками. Сам вожак, глядя на небо, похлопывая крыльями по гладким бокам, нередко косится на хорошо знакомое корыто, и кряк его тут сразу же выдает своим тоном, надорвавшейся ноткой некую неуверенность и затаенные сомнения.

Гуси тонко все это чувствуют, но для солидарности со старшим тоже машут по временам крыльями, с шумом подпрыгивают и делают довольно правдоподобный вид, что вот-вот полетят, но вскоре теряют энтузиазм и плюхаются тяжело в родную лужу. Между этими проявлениями устремленной ввысь ревности они не забывают подкрепиться одной-другой съедобной (и даже вкусной) крошкой. Вожак – герой, но, к сожалению, и он всего лишь домашний гусь, прочно прилепившийся к земному, только возмечтавший о своих предках, странствовавших в дальние теплые страны, высоко паривших в небесной лазури, с высоты полета отчужденно, бесстрастно взиравших на прах земли, на эти лужи и дворы.

Но что делать? Ну не стать им дикими, сильными гусями, не расстаться с этим утопанным птичьим двором, с этими

удобными корытами-кормушками, не подняться в прозрачную высь, не воззреть на поля и леса из той головокружительной выси, вознесшись над ними, не проплыть над этим дряхлым, захламленным миром стройной шеренгой-стрелой к теплым прекрасным краям... Но так вот всегда и ходить вперевалку, ковыляя и побрякивая, так и опустить голову, скрипеть ближнему на ухо о своих тяготах, с трудом перелезая через каждое бревно на пути, так вот и бродить (хоть иной раз и с бодрой деловитостью) от поилки к кормушке, от кормушки к поилке да ради разнообразия иной раз до лужи за соседским двором?.. И с этим смирились уже. Но кто-то нет-нет да и залюбуется неосторожно небом, что-то вдруг забьется больно в вялой груди, что-то там рванется куда-то ввысь, потянет неведомой тоской, и так больно, горько потом опустить голову и видеть все тот же прочно обустроенный двор. Эх, гусиное сердце, гусиное сердце!

Но вот вспоминается: *горы высокие еленем, камень прибежище заяцем*⁷². Ну, не елени мы, всего только заяцы. Так будем сидеть, дрожать под камнем, ушки наострим: будем прислушиваться к вечности... А все-таки что-то грустно-грустно! И чего это?

Если б не Господь

Не надо обманываться: к сожалению, в нашей теперешней ситуации настоятель обители уже никак не «духовный предводитель» или «старец», «наставник» на пути к Богу, но, пожалуй, он всего-навсего «прораб», «завхоз» и «милиционер», – это в основном его послушания в обители. Все остальное уже вслед за этим. В основном все силы настоятеля уходят на стройки, на хозяйственные устройства, на приобретение всякого рода житейского хлама и рухляди, на установление и поддержание нравственного порядка и на борьбу с посягателями на чинность и упорядоченность монастырского уклада. В немалой мере приходится бывать и «вышибалой», так как довольно часто в обитель настырно пытаются влезать и упорно задерживаться личности весьма беспокойные и много досаждающие мирному течению жизни; избавление от них порой не обходится без весьма «горячих эмоций» с обеих сторон...

«Духовным наставником» настоятелю удастся представить себя, когда он выезжает из обители по делам монастырским: миряне и монахи других монастырей смотрят на него гораздо почтительнее, чем своя братия. Здесь обычно настоятель утешается применением к себе слов, сказанных Спасителем: *не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем*⁷³. В монастыре же все предпочитают сами себя наставлять на путь спасения, и попытки настоятеля преподать какой-либо урок, относящийся к конкретному лицу, воспринимаются этим лицом чаще всего с немалой надутостью, как незаконное вмешательство в его личную свободу и в личную его жизнь.

К тому же нередко даже самые общие поучения, им высказываемые в братском собрании, вообще рассуждения его о вере и подвижничестве, хоть бы и со многими цитированиями, также выслушиваются не без нетерпеливого покашливания и какого-то свербящего ощущения в животе. Почему-то у братий часто возникает непонятное недовольство и даже подозрение,

что их «настоятель» что-то разумничался и что это он играет, строит из себя такого учителя-старца. «Ну чем он мудрее нас? Книжек, что ли, больше прочел? Ну что, повезло ему, сподобился начальствования, – думает иной, – сделали бы меня начальником – я бы гораздо лучше повел дела обители». Постоянно приходится сталкиваться с фактом, что многие из братьев пригревают у сердца именно такую уверенность, что поставь их начальниками над монастырем, и они гораздо лучше бы справились с настоятельскими обязанностями, чем их «дутый» игумен. Но, конечно, подчиняются, «несут послушание», несут точно так, как грузчики носят тяжелые мешки, работая на вокзалах, или как рабочий на фабрике носит какие-нибудь предметы и терпит иго своего начальства, потихоньку поругивая его. И действительно, почему надо верить, что данный человек, будучи настоятелем, заслуживает доверия в вопросах духовных? А имеет ли он сам право считать себя учителем? Здесь и с одной, и с другой стороны может быть немало ошибок!

Во-первых, сам настоятель должен смотреть на себя как на наиболее немощного и никуда не годного монаха, лишь за послушание обязанного учить и подсказывать братии, в чем их ошибки и слабости. С другой стороны, важно братьям понять, что не возраст, не житейская умудренность, не смекалка и горячность характера, даже не склонность к психологическому анализу делают человека способным мудро вести себя в вопросах духовного устройства обители, но именно умение не надеяться на себя, предоставляя действовать Самому Господу, умение «самоустраняться», сомневаться в себе, бояться своей воли, осторожно нащупывать, на что есть воля Божия и на что нет. Беда, что монастыри наши с самого своего начала устраиваются, как какие-то мирские организации: назначается начальник, увешивается санами и крестами, получает задание отстраивать здания и заселять их насельниками; затем все силы бросаются на изыскание денег и средств для строительства; вслед за этим – по ходу уже – набирается вспомогательная этой цели братия. Естественно, что в такой череде дел

настоятель воспринимается лишь как старший прораб или директор.

Итак, все должно создаваться иначе: во-первых, цель – не строить и заселять вновь отстроенные здания, а разжигать яркий очаг веры, возле которого могут собраться уставшие, ищущие духовного тепла и света озябшие путники. Начинать разжигать этот очаг надо именно со своего собственного сердца, и на это уйдут годы. Учительствовать, если благословят, опять же надо крайне осторожно и как бы нехотя, с окаяванием себя, лишь из страха дать отчет за умолчанное слово. Сами братия ни в коем случае не должны думать, что настоятельство – честь: это лишь труднейшее послушание. Главное, необходимо понимать, что через старшего в обители Сам Бог наставляет и ведет братию и что многие духовные истины открывает ему Господь именно ради братии и ради ее веры в это таинство духовной иерархии.

И в том, что монастыри превращаются в мирские организации, что в настоятеле хотят ценить и признавать только мирские качества и не видят духовного таинства, – во всем этом опять проявляется маловерие нашего времени. Люди разучились верить, поэтому не умеют и доверять. Верят только тому, что осязаемо, осязаемо, верят «крепкому слову», жесткому движению, сочувствуют грандиозному размаху земных предприятий, верят крепким стенам, прочной мебели, надежной технике, верят деятельному и живому характеру начальников, верят крепкой руке и грозному взгляду, но весьма не доверяют, когда им ненавязчиво, без самоуверенности кто-то скромно укажет на учение святых отцов, на их собственные духовные ошибки, постарается отвлечь их внимание от пристрастий земных. Да, духовные отношения невозможно спланировать умом и затем воплотить их в жизнь: никакие искусственные усилия не заложат этого духовного фундамента. В лучшем случае при определенных талантах настоятеля монастырь может быть организован как налаженная трудовая артель с четким распорядком жизни.

Опять – только вера, живая вера может стать условием для правильных взаимоотношений, и всякое маловерие здесь будет

действовать как капля едкой кислоты – разъедать, разлагать, оставлять дыры на нежной ткани монастырской жизни. И то надо, видимо, признать, что теперь старший в монастыре, то есть настоятель, так называемый «игумен», пусть даже архимандрит, «высокопреподобный отец», «батюшка» и тому подобное – на самом деле только лишь старший брат, а не «отец»! Старший брат, который по причине осиротелости братий вынужден пещись о них, хлопотать, заботиться о том о сем, пытаясь как можно благочиннее «свести концы с концами» и вообще стараясь возместить, насколько это удастся, отсутствие родителя. Да, он несет скорбь и заботы отца, и труд его немал, но он не должен забывать, что сам он всего лишь неумелое дитя, «зеленый мальчишка». Если б не Господь...

Гляди вверх

Сегодня читалось в церкви Евангелие от Матфея (зачало 59), где говорится, как Господь шел по морю и Петр вызвался пойти к Нему, пошел было, но устранился: *видя же ветер крепок, убося, и начен утопати, возопи, глаголя: Господи, спаси мя*. Иисус простер руку, *ят его и глагола ему: маловере, почто усумнелся еси?*⁷⁴ Вот ответ на все наше унылое состояние! Смотрим на ветер, на волны, забываем о силе Божией: без веры смотрим, все соизмеряем со своими силами, не на Бога печаль возлагаем⁷⁵ – вот и тяжесть, вот и мука, и подавленность. Как легко орлу с горы на гору перелетать – одно удовольствие! А попробуй какая-нибудь курица перебраться на другую гору – когда-то она доберется! Сколько ей трудов: каждый кустик, бревно, камень на дороге – и труд, и потеря сил, и скорбь. А ведь все оттого, что она разучилась летать, оттого, что давно только по земле ходит и только под ноги себе глядит. Сделалась эта некогда птица самым бессильным, беспомощным «животным».

Так и мы: без веры – одна беспомощность, немощь, скорбь отовсюду, со всех сторон все только отчаивает и подавляет, «волны и ветры», под ногами – пучина неизвестности, впереди мрак, ледяные брызги, боязливое ожидание бедствий, на сердце теснота. И одна только есть дверь, чтобы бежать от этой тесноты, одно избавление от потопления – держаться крепко за Божественную десницу, что то же – летать, подниматься над этим хаосом житейским, над всеми горами и теснотами душевными на крылах веры и только по временам садиться где-то на вознесенную к небу скалу. Тогда все без страхований и робости, не в муку, а в радость! Особенно это относится к настоятелям, вообще к наставникам. Так и епископ Игнатий говорит одному игумену: «Когда стоит кто высоко, должен глядеть вверх, а не вниз; если будет глядеть вниз, то легко у него закружится голова и он упадет. Итак, верой гляди вверх, на небо, на Промысл Божий, и не закружится у тебя голова, не впадешь в смущение и уныние, которые приходят оттого, когда

глядишь вниз, то есть когда вместо молитвы и веры вдадимся в свои рассуждения и захотим всякое дело решить одним собственным разумом»⁷⁶.

Как выверяется вера

Как мало даем мы места в своей жизни настоящей вере! Что по-настоящему делается нами по вере из того множества дел и поступков, которыми наполнен наш многохлопотный день? Далеко не все это «по вере», хотя нам и кажется, что мы много сегодня потрудились «ради Бога». Да и сама ведь вера может быть разная, не всегда вера, даже сильная, спасительна: *и бесы веруют, и трепещут*⁷⁷, и бесы не только веруют, но и даже мало не сомневаются в бытии Бога, в существовании рая и ада, даже знают то наверняка, что будут преданы вечному огню в геенне за свои злые козни, тем не менее и не подумывают исправиться. Многие люди говорят, что они глубоко верующие, показывают и некоторыми поступками, что действительно в какой-то степени верят. Но все же и здесь чаще всего не та еще вера, которая спасает! Что же она такое – та вера, которая делает человека причастником Бога?

Есть вера, которая только доводит человека до дороги, ведущей в Царство Небесное, как бы «вера вступительная», и есть «вера деятельная», «живая», «истинная», которая ведет уже по самой той дороге, вводит в самые врата. Или так еще: одна доводит только до царского дворца, но внутрь войти не смеет, так как никого не знает из царских служителей; другая же имеет знакомства, близкие взаимоотношения с придворными, даже и до Самого Царя может дойти, Самому Царю представить и отрекомендовать ведомого ею. Но не так, что первая вера никаких внешних дел не имеет и есть только *вера без дел*⁷⁸, как мы часто думаем. И здесь могут быть многие дела и даже «бурная деятельность», которые тем не менее не есть дела глубокой веры, а наоборот, при внимательном исследовании они же и свидетельствуют о слабой, вялой, полуживой вере, как раз таят в себе немалую примесь неверия, сомнений и скорее самонадеянности, чем упования на Бога и Его совершенный Промысл. И та, и другая вера имеют внешние проявления: только первая действует все «по логике», «по разуму», все «с расчетами» да «с оглядками», а другая – таинственными

силами, логике недоступными, совсем по иным законам, а именно внутренним каким-то, глубинным чувством присутствия Божия и доверчивым себя Ему вручением, отдаением себя течению Его дивного Промысла, как отдается человек силе воды, желая плыть.

Руководствуясь лишь «вступительной» верой, человек все доверяет своему уму и расчету (хотя, конечно, в чем-то по книгам христианским и по науке православной соразмеряет и направляет ход своих суждений), однако истинного доверия Богу, самоотвержения здесь еще нет. Здесь все тот же «казенный» принцип: «доверяй, но проверяй». Да, как будто человек боится ошибиться, обмануться, как будто такая осторожность вполне оправданна (ведь как же и отличить ложь и лжепастырей, лжебратий, если не выверять все своим разумом, чтением, сопоставлением?). Но тем не менее здесь нет живой связи с Богом. Поэтому человеку даже не объяснишь, в чем его ошибка, где он что-то важное упустил из виду, ведь он и говорить с тобой будет очень логично, рассудительно, «правильно». А дело как раз в том, чтобы отказаться от этой рассудительности и отдаться «буйству» веры⁷⁹. Но он опять скажет: «Я могу отдаться этому «буйству», но прежде должен рассудить, чтобы не ошибиться». Итак, человек как будто идет к Богу, но «идет сам», часто помышляет о Боге, но «сам», «своим умом», делает что-то ради Бога, «по вере», но делает «своими силами», «собственным рвением», проверенной-перепроверенной «верой», он «молится», но, точнее, не «молит» Бога, а «говорит Богу о себе». Человек здесь самодетелен и только «подстраховывает» эту свою деятельность «молитвой».

Деятельная вера начнется только тогда, когда человек вручит себя «судьбам Божиим», когда как раз наскучит ему эта его собственная «логика», «попечительность» и «рассудительность», когда найдет на него некая необъяснимая «беззаботность», «неразумность» и «нескладность мыслей» и когда вдруг в этом «буйстве» веры обнаружится своя удивительно стройная логика, высший разум, некая иная, красивейшая и идеальнейшая слаженность понятий, но все это

уже по другим законам и правилам, которые все пронизаны присутствием тайны и ближайшим присутствием Самого Творца и Промыслителя мира. Когда человек вступает на путь живой веры, ему и не приходится много рассуждать, выстраивать логические построения, а только нащупывать и находить рядом с ним же стоящую – стройную и живую – истину; он уже не вычисляет правильный поступок, а лишь учится узнавать, где воля Божия, по какую сторону от него она обычно обнаруживается и что ему мешает ее видеть. Это ведь совсем иного рода вера!

Когда человек учится плавать, то успех только тогда достигается, когда он наконец научится расслабляться и именно «доверяться» воде, – только тогда вода держит его на своей поверхности безо всякого его собственного усилия и напряжения. Но стоит напрячь мышцы – тело как камень начинает опускаться на дно. При всех наших «религиозных познаниях», «духовной начитанности», «ведении православных канонов», «знании догматов веры» остается еще большой вопрос: даем ли мы в своей жизни место Самому Богу – вести нас, наставлять, оживлять для общения с Ним? С прикосновением к живой вере начинается переход человека в новое состояние, когда сам он постепенно умалется в своем сознании, а Бог возвеличивается, когда человеческое тает, а Божие распространяется в его сердце, душевное уступает место духовному. Здесь только и зарождается действительно религиозная жизнь. Все, что было до этого, было только мечтание о религиозной жизни.

Вернемся опять к примеру с водой: желая переплыть реку, человек сначала сбрасывает с себя одежду и обувь, чтобы они не тянули его на дно и не мешали движению. (Показательно и то, что одежда в воде перестала бы выполнять свое назначение – согревать тело и покрывать его наготу! Можно и здесь провести аналогию: так мирские навыки и добродетели, приобретения и преимущества при вхождении в духовную жизнь теряют свои «полезные свойства» и чаще всего только мешают, «тянут на дно» – привязывают к миру сему тленному, отягощают сердце, держат в плену мысль.) Затем он должен войти в

холодную воду, что вначале пугает, требует решимости и резко будоражит чувства. Когда человек только учится плавать, он боится воды, сильно напрягается, изо всех сил бьет по воде руками и ногами, весь сжат, мышцы натянуты, сердце учащенно колотится, но при всей этой затрате сил все равно идет ко дну. И лишь тогда он начинает держаться на воде, когда перестанет доверять собственным усилиям и поверит в силу воды, способную держать его тело на поверхности, тогда весь урок сводится к тому, чтобы расслабиться и успокоиться. Тогда можно даже без всякого движения лежать на воде, как бы покоиться на мягком ложе, можно сделать несколько легких движений, чтобы поплыть. Но стоит только несколько напрячь мышцы, усомнившись в силе воды, как тело тут же начинает идти ко дну.

Удивительное дело: то же самое тело, с тем же, казалось бы, объемом и весом, доверившееся воде, свободно покоится на ее поверхности, усомнившееся же, порывающееся напрягать мышцы, чтобы действовать самостоятельно, тут же становится тяжелее воды и тонет. Какой многозначительный для нас урок от природы! А в Евангелии не о том же ли самом: когда во время шторма на Геннисаретском море Господь идет по воде, ступая по самым волнам, и святой Петр просит Господа, чтобы и ему прийти по воде, и идет ко Христу, но, едва взглянув на бушующую пучину, вострепетал, усомнился в силе Божией и сразу стал тонуть?⁸⁰

Таким образом, живая вера – это когда человек ищет Бога сейчас же, здесь же, скорбит, что не имеет с Ним живого общения, что какая-то стена преграждает ему путь к Богу, Который так близок на самом деле, зовет и ищет от Него единого животворного прикосновения. Он верит не только в Бога, но и Богу. Другая «вера» скорее «предверие»: только мечтает о Боге, верит в Него, но в Какого-то далекого, к Которому надо долго идти собственными силами и собственным рассудком, определять по звездам направление пути.

Когда начинаются действительно «вера веры» и «жизнь по вере»? Когда мы уверовали рассудком, что Бог воистину есть и все сотворено Им? Что Он нас всегда видит, знает все наши

дела и мысли? Что рано или поздно мы предстанем пред Ним и дадим отчет о прожитой жизни и тому подобное? Если мы все это приняли и уверовали, «настроили» на такое верование свой ум, подчинили ему свое мировоззрение, готовы словом исповедовать все, что усвоили, то и это все-таки не та еще живая и действенная вера. Даже когда у нас бывают некоторое чувство страха и благоговения перед судьбами Божиими, многие возвышенные мысли и восторженные порывы чувства при чтении Священного Писания и поучений святых отцов, то и здесь еще как многого может не доставать до начала настоящей веры! Здесь еще может быть очень многое от нас самих, нашего самодельного, «доморощенного», искусственного и поддельного, и так еще мало места действовать Самому Богу, Его Животворящему Духу.

Когда мы терпеливо держимся молитвы, зовем Господа, просим Его помощи, скорбим о своей «никуданегодности», молим о милости, спасении, вразумлении, когда славим, благодарим Бога, – все это уже начало живого обращения и деятельной веры. Но и здесь действительно ли «молим», «просим», «каемся» или только становимся в молитвенную позу, а добра и правды, чистоты и святости ждем от самих себя? Вот ведь святое соборное правило (Карфагенского святого Собора) предает анафеме тех, кто считает, что «благодать оправдания нам дана ради того, дабы возможное к исполнению по свободному произволению удобнее исполняли мы чрез благодать, словно бы и не приняв благодати Божией, мы хотя с неудобством, однако могли и без нее исполнить Божественные заповеди», «но, – продолжает правило, – о плодах заповедей не рек Господь: без Мене неудобно можете творить, но рек: *без Мене не можете творити ничесоже*⁸¹». ⁸² А как часто мы именно сами напрягаемся и пытаемся выдавить из себя некое добро, в чувстве сердца вовсе не прибегая к помощи Божией, обращаясь к силе Божией только формально, по сути же, всего ожидая от самих себя. Чаще всего и более всего весь нажим, как бы весь расчет и все построение здания нашей добропорядочности опирается на наш рассудок, на его тонкие и складные построения, на кажущиеся нам

наисветлейшими и наипревосходнейшими суждения и полеты нашей мысли. Но как раз это первое здесь зло. Коротко сказать: чтобы молиться, надо прежде всего умалиться! Даже когда сегодня человек уходит в монастырь, отвергая наконец сомнения, колебания, отклоняя чьи-то отговоры и наговоры против такового шага; когда он тут и трудится, и молится, и даже старается жить правильно и чинно, то и здесь еще много места может оставаться для все той же самости, все еще может не быть живого общения с Богом.

Но вот, казалось бы, человек выполняет разные работы в монастыре «по послушанию», трудится и живет по тем правилам и меркам, которые ему указали, делает все «по благословению», иногда же сами обстоятельства чего-либо требуют от него, и тогда он опять живет «не по своей воле» – что же еще надо для оживления его веры? Но работают все люди, и неверующие часто против своего желания большую часть жизни и трудов исполняют по указанию, по велению либо людей, либо обстоятельств, и они часто, преодолевая немощь, должны подниматься с постели чуть свет и идти на трудную и однообразную работу либо хлопотать денно и нощно о потребностях близких, разных житейских вещах, часто смиряться и кротко переносить тяжкие и несправедливые оскорбления, насмешки, лишения. И они часто проводят время в чтении или в каком-либо рукоделии, размышляют о том о сем, и они всю жизнь проживают по четко разложенным правилам и распорядкам. Да все это без веры и потому напрасно. Но ведь и в монастыре можно иметь неглубокую веру и так же привыкнуть все к тем же общечеловеческим трудностям, свыкнуться с местом, удовлетвориться неким внешним покоем, «беспроблемностью» и самую внутреннюю упокоенность можно считать началом духовной жизни и уже некоторым достижением, благодатным плодом. На самом деле, все так же можно, подобно маловерным или и совсем неверующим, просто проживать здесь свой век в некоторой жалкой успокоенности, как бы в полусне, не зная живого общения с Богом, лишь мечтая о себе как о живущем по-монашески.

Есть великий соблазн подменить истинно христианскую жизнь – страдальческий, многоплачевный путь поиска истинной чистоты и праведности – жизнью в духе фарисеев, упокоением своей совести в стройных и правильных рамках чинности, упорядоченности внешней жизни; пышной и радующей своей возвышенностью игрой рассудка, выступающего в роли красноречивого оратора. Мало ли, что мы живем в местах уединенных или несколько лишенных современного комфорта, не развлекаемся каждый день, видя яркую, шумную и веселую арену мирских развлечений. Но и миряне часто живут и трудятся на каком-то лишенном удобств и разнообразия месте и вовсе не ради удовлетворения своих сильных страстей, а лишь ради некоего малого покоя, даруемого самой скромной платой, самым малым бывают удерживаемы в одном этом положении. Итак, наша жизнь при отсутствии живой деятельной веры может стать с виду безобидной, но по сути обычной, мирской, житейской «сутолокой», с теми же заботами и переживаниями, что в миру, с теми же мелкими пристрастиями и тонко питаемыми страстями, прочно гнездящимися в глубинах сердечных и лишь наружно быть оформлена, приукрашена религиозностью. Все это древняя болезнь – *закваска фарисейская*⁸³, от которой строго предостерегал всех Своих учеников Господь.

Кто-то скажет: «Но как человек, не верующий глубоко и искренне, сможет жить, да еще долго, тем более в наши дни, в условиях монастыря? Он никак не выдержит стольких искушений и трудностей, да еще при стольких соблазнах сегодняшнего мира!». Действительно, монах из него не выйдет, и жизнь его в обители не обойдется без трагических последствий, но, как показывает житейский опыт, такие люди все-таки живут (и долго!) в монастырях. И таких людей очень много в наших обителях, очень! И разве это новость? Почитаем историю многих монастырей, случаи жизни в них во все времена христианства: как много найдем примеров того, что весьма малое число иночествующих подвизалось с глубоким и искренним самоотвержением и искало в монашестве единого Бога. Сколь же немало увидим случаев, когда многие из числа

монашествующих вели себя крайне недуховно, показывая, что их пребывание в монастыре ничуть не приблизило их к Богу, что они при многих своих трудах и лишениях не приобрели никаких истинно духовных понятий. И сегодня при всем том, что мир влечет человека в свои сети, предлагает ему тысячи самых разнообразных, на любой вкус удовольствий, он в то же время крайне угнетает и давит каждую человеческую душу. Поэтому многие, испив в полной мере чашу приторных до тошноты чувственных удовольствий сего мира, уже не могут более находить какой-либо смысл и стимул жить, трудиться, радоваться, попадают в мрачный тупик, уже в молодом возрасте испытывают старческую меланхолию и пресыщенность жизнью. Все это часто и довольно многих толкает на поиск иной жизни, и во многом здесь их привлекает монастырь. Убегая от хаоса, пресыщенности, опустошающей суеты и бессмыслицы, они ищут в обителях не Самого Бога, но некоего избавления от «дискомфорта», как бы психотерапии, спасения от гнездящегося внутри них кошмара, даже просто элементарной «человеческой жизни». Конечно, через все это многие могут прийти, но и пойти потом дальше, избавившись от главных приступов болезни, наиболее очевидных и причиняющих ощутимые страдания, и вслед за тем искать истинно духовного. Однако как часто дело до сего не доходит: человек останавливается при дверях, ведущих в этот подлинно духовный мир.

Испытание истинности веры не только в Бога, но и Богу происходит там, где дело касается именно «послушания» – послушания не как подчинения настоятелю в делах внешних, не как подклонения под устав и распоряжки обители, не как уважения или почтения к старшим, но как веры в то, что через духовного наставника и при многих его немощах о душе послушника промышляет Сам Господь, что за всем этим человеческим стоит некое духовное таинство. Если истинно верующий христианин в самих окружающих его обстоятельствах, случаях, в отношении к нему людей должен постоянно видеть промышляющую о нем десницу Божию, то тем более в том, что происходит в обители, первее же всего в том, что ему говорит и указывает наставник, он должен искать

указания Божия, врачевства, исходящих от Врача Небесного. Только закон послушания распутывает крепко затянутый узел бесчисленных недоумений, скорбей, блужданий, освобождает от тяжкого ига напрасных трудов и бесплодных подвигов, которыми пытается обычно «спасаться» наша самодеятельность. Только такое духовное послушание могло бы выправить, выгладить путь духовной жизни, внести цельность, порядок, ясную последовательность и плодотворность во всю деятельность христианина.

В монастыре закон послушания и есть основное и необходимое условие проявления живой веры, все более оживающей, истинно приводящей к Богу. Только здесь-то и дается место Богу, здесь-то и приходится постоянно, самым делом показывать свою веру и реально, а не мечтательно познавать действия всеблаготворного Промысла Божия, в самом деле испытывать приближение и заботливое прикосновение исцеляющей и спасающей десницы. Вот где необходима только вера и вера, а все собственные «умения» и «умудрения» теряют всякий смысл и даже сильно мешают. Здесь только и зарождается самоотвержение, отказ от себя самого, здесь начало «плаванья» (если вернуться к примеру с водой, когда человек обнажается, снимает одежды, готовясь войти в воду, чтобы плыть). Здесь только и начинается истинное шествие к Богу. Вне этого закона все труды, хотя бы и самые «добропорядочные» и «общепользовательные» по наружности, мало что стоят, как неосвященные. Так и вода, пусть самая чистая и прозрачная, много разнится от воды, освященной в храме: первая утоляет лишь физическую жажду, оmyвает лишь телесную грязь, в то время как освященная вода исцеляет и очищает душевные болезни и нечистоту, несет в себе духовную силу. Труды тяжкие, но исполненные без помазания освящающим миром послушания, остаются бесполезными для души и могут быть полезны лишь телесной нашей дебели. Так, если бы кто многотрудное свое рукоделие, со многим старанием выделанное с целью выручить за него хорошую плату и приобрести на нее что-либо насущное и весьма нужное для жизни, по неразумию продал бы за деньгу фальшивую, и

обида какая была бы, да еще ведь с такой фальшивой деньгой недолго оказаться и на допросе у властей, а то и угодить с ней в тюрьму! Казалось бы, за что?

Вот читает ли послушник книгу по благословению (а не ту, которую сам посчитал полезной для себя), спит ли столько часов, сколько ему благословил наставник, вкушает ли пищи столько и тогда, как это опять указано, – везде он как бы в стороне от самого себя, как будто свободен от самого себя, от себя «в мире сем». И сколько здесь сил освобождается для действительной жизни по Богу! Мало того, подвиг послушания может заменить собою другие многие подвиги. К примеру, желал бы послушник проявить некое рвение и спать пять часов, но ему сказали: спи семь. Он отсек свою волю, проспал семь часов, но пред Богом он не видится неподвизавшимся, но как спавший мало. Читал он книгу с верой, что раз уж ему благословили читать именно эту книжку, значит, это по Промыслу Божию, значит, Сам Господь желает открыть что-то важное его душе, значит, где-то здесь его ждет одна-другая мысль, очень сейчас ему полезная и необходимая, и действительно: *по вере его будет ему*⁸⁴, и Господь непременно откроет ему что-то весьма полезное, найдет он в этой книге именно то, что ему нужно, и нужно именно теперь.

А при другом условии эти же мысли были бы прочитаны, но оставлены безо всякого внимания и вовсе не поняты, как бы запечатаны для ума, не тронули бы сердца. Вот выбрал он книгу для чтения сам, – значит, и все упование на саму по себе книгу, а не на Бога, могущего отверзать и разум, и сердце; однако сама по себе самая хорошая книга без благодати Божией, открывающей сердца, останется зарытым сокровищем. Святое Евангелие все есть высочайшая и святейшая истина, но сколько людей читает его и не понимает, толкует в самом кривом смысле и еще более повреждается умом. Сам подбирал книгу, сам напрягал разум для ее уразумения, но где вера? Где упование на истинного Учителя – Умягчителя сердец? Где здесь таинство веры? Что дано для того, чтобы приобрести? Отдана ли здесь «кровь», дабы приобрести Духа Святого? Раз не было жертвы, не совершилось и священнодействие!

В житии оптинского старца Льва рассказывается, как однажды один из послушников вопрошал старца, отчего из тех, кто приходит к нему за духовными наставлениями, одни терпеливо ожидают своей очереди и, иной раз по многу часов просиживая в приходе, не могут видеть старца, другие же дерзновенно опережают всех и входят к старцу, но не терпят никакого ущерба от своей дерзости, наоборот, получают вскоре от него разрешение своих вопросов и уходят, обретая желаемое без особого труда. Как же оправдывается такая дерзость: ведь и те получили желаемое, да еще и скоро? Старец же отвечал, что тот, кто легко вошел, скоро получил разъяснение своих вопросов, но по выходе скоро же и забывает все услышанное. Но тот, кто потрудился, проявил терпение и скромность, долго помнит полезное для его души слово, и сама благодать Божия дает ему силу к запечатлению и исполнению услышанного.

Так и в послушании: кто без подвига веры «урвал» тонкие и высокие знания, тот хотя временно и вознесся умом «на небеса», но вскоре же приземляется на прежнее свое место, а то еще и ниже: ведь в таком случае знание непременно надмевает, а лукавый дух за такое надмение получает доступ искушать и посмеиваться над высокоумным мечтателем. Сам же человек удивляется, как скоро происходят перемены в его сердце, как быстро мысль его вскруживается высокими понятиями и как тут же скользит на самое дно, в самую тину низменных представлений и пожеланий. А это как раз очень свойственно душевному деланию в противоположность духовному, где стяживаются не «умные» и «высокие» понятия, а благодать Духа Святого.

Еще пример: в Оптинском монастыре во время игуменства преподобного Моисея находился один пожилой монах, страдавший недомоганием желудка, так что он не мог вкушать с братьями в общей трапезе: от грубой пищи, подаваемой для всей братии, он испытывал сильные страдания и должен был принимать особую пищу отдельно, принося ее себе в келью из кухни. Однажды игумен встретил его, когда тот нес пищу к себе в келью, и, поговорив с ним о его немощи, посоветовал с верой, положившись на Господа, попробовать опять ходить на общую

трапезу и вкушать вместе с братией. Болящий монах с верой в силу послушания пошел вместе с братией и на этот раз не ощущал страданий, поевши грубой братской пищи: желудок нормально усвоил ее. Однако вечером он все-таки усомнился идти опять на общую трапезу и вкушал особо. Следующий день он уже хотел было и утром, и вечером быть на братской трапезе, но оказалось, что теперь утреннюю еду его желудок принимает, вечером же страдает после еды. Стало быть, за его сомнения и маловерие Господь не покрывал его немощь, напоминая ему о его грехе непослушания и показывая силу веры в слово наставника, когда его больной желудок легко переносил тяжелую пищу по утрам.

Здесь видно, как и в самых обыденных, казалось бы, вещах может так явно сказываться таинство веры и духовная сила послушания, которая даже в повседневных мелочах способна поставлять человека выше законов естественных и вносить некоторую высшую реальность в течение нашей обычной жизни. Тем более в тонком духовном делании никак невозможно обойти этот закон всеосвящающего послушания! Бог просто «не может» к нам приблизиться и даже начать нас врачевать, когда мы думаем все делать сами собой. Но Бог промышляет о нас через ближнего, и это важный закон духовной жизни! Почему? Потому, что всюду действует принцип последовательности, возрастания, иерархии. На нем строится и небо, и земля, наблюдается он в ангельском мире, повсюду – в человеческом, тем более не обходится без него область духовного. Чтобы дойти до веры – живой, действенной – в столь близкого к нам Бога, необходимо пройти путь доверия к близстоящему духовному наставнику ради Бога; научиться искать Божественное прежде в отражении через близстоящего, как бы в отраженном свете (как по ночам видим свет солнца через отражение его луной; прежде чем увидим дневное светило, идем при свете луны, потом видим свет зари, и только после скользят по земле лучи восходящего солнца).

Но где мы один на один со своим «доброделанием» или только лишь с умными книжками, где строим здание на одном песке умствований и аскетических упражнений без испытания

его крепости ветрами и наводнениями, то есть «нажимами», принуждениями, требованиями отсечения своей самости, своеволия, которыми испытывается наше делание в подвиге послушания, там все сомнительно, ненадежно и лишь мечтательно. Живой вере здесь нет места: все и без нее по наружности «обходится благополучно», многое «строится», многое «обустроивается», монастыри растут и «вширь и врозь», «рухольные» пополняются, молитвы «вычитываются» чин по чину, духовная литература пользуется спросом... И при всем этом вера далека от нас!

Нет успеха и в самопознании: когда мы сами «ковыряемся» в своей душе своим собственным анализом, считаем и пересчитываем свои добрые и злые поступки и мысли, пытаемся вычислить удобный для нас путь спасения, то только более и более запутываемся в этих длинных и тонких построениях. По сути дела, здесь душа – сирота. Раз она не знает отсечения своей самости, значит, сама себя признает своим наставником, предводителем, сама себе – духовный отец. Но, по слову святого Максима Исповедника, «тем более душа будет внимать вещам Божественным и познавать их, чем более она не желает принадлежать самой себе, не стремится быть познанной из самой себя, самой собой или кем-нибудь другим, кроме только всецелого Бога»⁸⁵.

Начать заново

С одним послушником случилось серьезное искушение: во время келейного правила он вдруг явно ощутил присутствие беса, как будто всем существом своим ощущал на себе страшный и пристальный дьявольский взгляд и почувствовал, что бес входит в него. Брат в ужасе из последних сил противился, то есть молился как только мог о миновании этого страхования, и искушение отошло. Брат, когда меня позвали к нему, был страшно испуган, боялся умопомешательства, беснования. Я пытался успокоить его, убеждал не поддаваться страху. Брат поспешил исповедаться, постарался вспомнить все свои малейшие погрешности, но все-таки вскоре, через несколько дней, ушел из обители в поисках другого места.

Почему такое попущение? Этот послушник вовсе не был из числа строптивых, отличался довольно спокойным, сдержанным характером, был вполне исполнителен и, казалось, прекрасно мог бы жить и жить в монастыре, спасая душу свою. Одно только нашел я в нем, что могло, кажется, быть причиной такого странного искушения: этот брат всегда излишне «сложничал» в отношении духовной жизни. Он всегда как-то непросто анализировал свою внутреннюю жизнь, как-то многосложно «ковырялся» в своих мыслях и переживаниях, настроениях. Всегда было трудно принимать от него исповедь, так как, описывая свою внутреннюю жизнь, исповедуя Богу свои прегрешения, он обрисовывал весьма путаную, сложную картину: вместо исповеди получался какой-то «психоанализ».

Когда я пытался отучить его от этого и предлагал называть каждое свое внутреннее движение простым именем (ведь суть исповеди не в расследовании, а в честном наименовании наших греховных чувств и действий), это его смущало, как будто «подрезало крылья», вызывало часто между нами спор, мы никак не могли объясниться друг с другом. Наверное, ему казалось, что его просто не понимают, что у него идет сложная внутренняя, духовная жизнь и что посторонний человек не сможет постичь все эти сокровенные тонкости его души.

Конечно, и я не имел права претендовать на такую способность и списывал все эти недоумения на счет своей неопытности.

Вообще эта болезнь так распространена сегодня! Как будто хорошо, что человек так углублен в себя, так внимателен к своим переживаниям, мыслям, что желает всем этим поделиться с духовником... Но все это выходит так путано, так сложно, многословно, болезненно и неразборчиво, что невозможно ничего понять, разобрать, сделать какие-либо выводы, дать какие-либо советы. Можно советовать только одно: упроститься, оставить это странное и сложное «делание», это «копание» в себе, предаться Богу, представить пред Его врачующую десницу целиком все свои болезненные переплетения чувств и мыслей, весь свой душевный и духовный хаос и только просить и ждать разрешения и исцеления, а не учить Бога тому, что это в нас происходит, что и от чего имеет начало, как и с чего все это надо распутывать.

К сожалению, часто именно такое вот «психологическое ковыряние» в себе и понимается людьми как настоящая внутренняя, духовная жизнь, и совсем не легко бывает объяснить и доказать, что жизнь по вере – нечто совсем иное. В данном случае человек пытается лечить себя сам, ему кажется, что суть всего дела в том, чтобы понять, что в нем происходит, найти главные начальные ошибки и постараться не допускать их, и все встанет на свои места. Поэтому-то весь расчет делается на смекалку, на обдумывание и сосредоточенность на своих мыслях. Здесь под твердыми опорами понимаются какие-то умственные открытия, какие-то тонкие умозаключения и выводы, замечательные наблюдения, остроумные догадки. Такому человеку нравится, если какое-либо «духовное лицо» скажет ему что-нибудь «тонкое» и «таинственное», малопонятное, но отдающее «психологизмом». Это приберегается и складывается в памяти, как ценная монета. Если же слышит достаточно понятное, простое слово, объясняющее и наименовывающее страсти и движения души в духе общепринятого учения Церкви о борьбе с грехом, то оно кажется поверхностным, ничего не объясняющим, какой-то сухой, безжизненной формулой.

На самом деле в этом недостатке простоты – недостаток веры, недоверие, нежелание положиться, отдаться в руки Божии. Где место вере или доверию, когда всюду собственные «проверки», «промерки», «просчеты»? Он не отвергает те лекарства, которые предлагает монастырь, он признает все правила монастырской жизни душеполезными и необходимыми, но все эти лекарства он желает принимать по собственному рецепту. Так ведь и больные телесно часто не отвергают силу лекарств, но не доверяют врачам, предпочитают сами ставить себе диагноз, сами сочиняют рецепт и назначают лечение. Такие люди как раз и любят часами рассказывать о своих болезнях, но не для того, чтобы доверить врачу установление диагноза или назначение курса лечения, а именно потому, что целиком поглощены наблюдением за собой, прислушиваются к малейшим движениям таящегося внутри недуга. Тут сама болезнь становится так интересна, занятие ею так увлекательно, что интерес к болезни начинает заменять собой интерес к жизни.

Особенно способны привлекать к себе нездоровое внимание болезни духовные: ведь они не что иное, как страсти, а страсти – это уродливые сильные привязанности к разным тленным вещам и явлениям, вредная, преувеличенная тяга и привязанность к миру сему, причем чаще всего во многих сложных формах и проявлениях. Страсти – даже когда они не удовлетворяются на деле – могут находить для себя область жизни, вить себе довольно уютные гнезда в тайниках души и доставлять душе греховное услаждение. Вот потому-то само собеседование со страстями, их анализ, просчет – это опять то же погружение в темный мир, где душа непременно будет вновь соприкасаться с обманчивой приятностью, опьяняющим дурманом своих греховных вожелений.

Именно ясным и четким обличением, называнием своих страстей простыми, однозначными именами, повержением их на исповеди пред всевидящим оком Божиим, раскаянием в том, что все эти змеи жили и живут в нас, верой и ожиданием исцеления можно действительно обретать здравие. Но сколь часто человек не хочет назвать болезнь настоящим ее именем

(хотя она очевидна для взгляда духовника, даже и не столь уж многоопытного) и как только не толкует о ней, какие только сложные наименования не изобретает! Хуже всего человек видит самого себя! Наш плотской ум со всеми его умудрениями и тонкими психологическими наблюдениями не умеет распознать по имени самые общеизвестные болезни души, так подробно и ясно описанные у святых отцов. Зато он часто прописывает нам самые не соответствующие болезни средства, которые только усугубляют ее. Наш «умнейший» рассудок – продажный советчик: стоит перед начальством с услужливым, благорасположенным видом, выражает на лице полную преданность делу: «Я всегда к вашим услугам, что изволите?», но карманы его набиты взятками: он уже сговорился со страстями, он все дело повернет в угоду этим своим ублажателям. Тот, кто решит руководиться его мудрованием, будет долго биться, как муха в паутине, пока совсем не обессилит. Тогда уже появится из засады «паук» – тот, кто «платил взятки», кто финансировал ложь. Раз не по вере живет человек, – значит, не во свете ходит, а во тьме, хоть бы и казался ему его разум источником света. Раз не доверяет Богу дело своего спасения, – значит, покрова Божия нет над ним: открыт он для многих козней врага. Но видимость духовной жизни была, человек устами славил Бога, отчасти и вера была (только не в самой глубине сердечной), и за все это мстит враг.

Но как помочь человеку, который ходит по шатким мосткам, сплетенным из гнилых веток его собственных умозаключений? Сколько ни говори полезных слов, сколько ни цитируй святых отцов – не поверит, будет опять просчитывать и выверять все сам и сам. Часто страдает он оттого, что не умеет правильно, именно просто отнестись к происходящим рядом с ним событиям: все запутывается для него в сложный узел, все мучительно, без начала и без конца. Бредет бедный человек вдоль крайне сложного лабиринта своих логических построений, желает найти хоть какой-нибудь просвет, представить в уме план этих темных коридоров, но выход так и не обретается. Все умственные построения как будто выстраиваются в ясную схему и кажутся вполне соответствующими действительности, но

жизнь показывает нечто иное, все опять колеблется, рушится. Не хочет человек понять, что как раз собственный его рассудок изрядно пьян, что с ним не имеет смысла вести серьезную речь, что надо как раз воспротивиться этому образу «внутренней работы», что путь к выходу лежит через отвержение подобного рода «советчика» и «проводника». А с таким «наставником», хотя бы и сто лет прожил человек в монастыре, пользы никакой не получит, всегда будет бродить в недоумении и смущении по одному и тому же лабиринту, будет только казаться ему, что ушел он уже далеко, уже будет предвкушать выход, как обнаружит, что пришел снова туда же, откуда вышел в начале пути.

Может быть, подобные братнему тяжкие искушения – своего рода встряска, необходимая для того, чтобы человек сошел с ложного пути, и здесь уже только такие «сильные» средства могут отрезвить и заставить все начать заново?

Ясно, что выход один: «Господи, имиже веси судьбами спаси мя!». Надо звать, просить, полагаться во всем на Бога, единого Бога – и тебе откроют, выведут на свет. Но, чтобы звать, просить, надо хорошо почувствовать, что сам ты ничем себе помочь не можешь. Если есть хоть малейшая надежда на себя, духовная жизнь начаться не может!

Горькое лекарство

Советовал двум братьям почаще исповедоваться, даже каждый день открывать свои помыслы, поскольку сами они не умеют распознавать уготовляемую врагом кознь и периодически заглатывают то один крючок с приманкой, то другой, вовлекаются в долгую брань и постоянно смущаются, не умеют скоро пресечь смущающие помыслы. Вот попробовали, но получают большей частью вместо «исповедания помыслов» жалобы, наговоры и явная попытка отстоять и оправдать все эти свои мысленные построения, как вполне законные. Все это продолжалось достаточно долго; наконец стало ясно, что для такого душеполезного делания, как исповедание помыслов, нам надо еще порядочно дорасти. Исповедание помыслов – это не то же, что исповедь грехов перед священником. На исповеди человек именно кается, то есть называет такие свои поступки и мысли, чувства и желания, которые считает греховными и укоризненными, открывает их с чувством сожаления и раскаяния, не сомневается, что эти деяния предосудительны для христианина, и ждет от священника разрешительной молитвы и освобождения совести от тяжести греховной. Здесь священник вполне может не входить в расследование тонкостей и разных сторон того, что исповедуется, поскольку вся сила исповеди в том, с каким чувством раскаяния и сожаления исповедуется грех, здесь чаще всего лучше бывает не мешать исповедующемуся сосредоточиться на внимании к укорам своей совести, постараться не сбивать его наставлениями, поучениями и расследованием, дабы он мог добровольно и чистосердечно принести Богу раскаяние. Не дело священника – «вытягивать» покаяние у исповедующегося строгими вопросами, в момент исповеди он только «свидетель есть, да свидетельствует пред Христом, что речет ему»⁸⁶ исповедующийся. (Вопросы в помощь кающемуся должны были бы предлагаться до момента исповеди, когда человек только готовился к таинству: предъявляемые во время исповеди, они делают из нее какой-то допрос, а из священника –

следователя.) Собственно, и беседа, духовное наставление, если и полезны в данном случае, то лучше в конце исповеди, дабы не мешать самому Таинству, когда душа стоит пред Богом, сокрушается и жалуется Ему на саму себя.

Но не так при исповедании помыслов: здесь один человек, не доверяя своему рассудку, не считая себя способным различить помыслы, являющиеся в его сознании (от кого они, с какой стороны забрели в его ум), все их подвергает на рассмотрение и суд другого человека, которого считает более опытным и способным разобраться в этом потоке мыслей, уже научившегося распознавать «в лицо» своих и врагов, отличать доброе от лукавого, безобидное от коварного. В том-то и дело, что враг, наводя на душу брань, не начнет с явно порочных советов, но постарается вначале вложить мысли, прикрытые многими оправданиями, представляющиеся порывами к добру, к правде. Как важно вовремя заметить этот навет вражеский, вовремя обличить его коварство и лживость – вовремя, пока душа наветуемая еще не влюбилась в этот свой порыв, пока еще не облобызала его, не сделала поклоняемым идолом. Давно замечена отцами особая наша расположенность к порождениям нашего разума, благоговение перед ними: «Как родители пристрастны к своим телесным отпрыскам, так и ум естественно привержен к своим мыслям. И как для наиболее пристрастных родителей их дети кажутся самыми одаренными, красивыми из всех, хотя они во всех отношениях наиболее достойны осмеяния, так и безрассудному уму его мысли представляются наиболее рассудительными, хотя они и являются самыми жалкими», – говорит святой Максим Исповедник⁸⁷. Ясно, что при исповедании помыслов исповедующийся должен настроиться не на сокрушение и раскаяние, как при исповеди грехов, а на беспристрастное, спокойное и откровенное изложение своих мыслей, среди которых многие могут оказаться вполне добрыми, другие безразличными, иные же опасными и тому подобное.

Соответственно от духовного отца здесь требуется уже не «разрешительная молитва», а совет, краткий разбор каждого помысла, как бы просеивание их через «духовное сито»,

отделение «пшеницы от плевел». Конечно, со стороны наставника необходим немалый опыт различения помыслов, некое тонкое «духовное чутье». Но и от исповедующего помыслы зависят весьма многое: сможет ли он принимать обличения, сможет ли легко соглашаться с судом руководителя, который довольно часто мужественной рукой должен будет отсекаать и отбрасывать прочь иные опасные наросты, вырывать с корнем злые посева, принявшие вид самых здоровых и полезных произрастаний его внутренней жизни? Гордость и самость скорее готовы уступить во внешнем, признать несостоятельной свою наружную деятельность, чем признать несостоятельность и немощность своего рассудка. Уж чем-чем, а умом и рассудительностью более всего все мы стараемся друг перед другом похвалиться, более всего прочего хотим постоять за право считаться умными, смекалистыми, сообразительными. Не на этом ли фундаменте строятся все долгие наши беседы и полемизирования, частые горячие споры, нередко переходящие в шумные баталии? Поэтому для того, чтобы исповедовать помыслы, подвергать суду наставника течение мыслей, уже необходимо достаточное смирение, недоверие себе самому. Иначе «исповедание помыслов» приобретет самые уродливые формы: либо превратится в спор между наставником и исповедующимся, либо в нечто еще худшее.

А именно: если человек не готов подвергать сомнению свои мысли и настроения и привык много себя оправдывать, верить своему «голосу правды», то, естественно, в сердце у него периодически накапливаются разного рода «оскорбленные» чувства: «то совершается неправильно», «такой-то живет нехорошо», «вот то надо было бы сделать не так, а вот так» и тому подобное. Это целый «город» разного рода уродливых построений, и все это душа копит, наветуемая врагом, представляющимся голосом справедливости и рассудительности. Идут в душе тихий ропот и ворчание недовольства. Но вот открылась возможность «исповедания помыслов», когда принимающий исповедь еще вдобавок и настоятель монастыря, от которого многое зависит. И начинает такой человек, вместо доверчивого представления всех этих

помыслов на суд старшего, просто уже вслух жаловаться, роптать и обвинять всех и вся вокруг, только делая вид, что он просто-напросто искренне открывает свои помыслы. При каждой же попытке духовника успокоить его, обратить его мысль к собственным его духовным проблемам исповедующийся опять силится все повернуть на то, что дело вовсе не в нем и его неправомыслии, а в чем-то ином и что совет здесь ничего не решит, но надо принять меры внешние в отношении того или другого лица либо той или иной вещи, и так далее. Никак не желает такой человек понять, что немирность его состояния имеет корни в самой его душе, в его самости, наветуемой злым шепотником, в его некритичности к самому себе. Нет, он упорно ищет причину неустройства вне себя, в ошибках и погрешностях других людей. Исповедание помыслов здесь было бы очень кстати и, может быть, единственным даже действенным средством, но и оно оказывается неприменимым... Беда, беда!

Одряхлел этот мир

После исповеди братий наконец-то добрался до своей кельи. Вокруг лес. Все окутано густой тьмой; ночь давно уже наступила. Обитель где-то внизу, кругом ни души, и только дождь, дождь. Мой крошечный домик затерялся среди мокрых насквозь кустов и высокой травы, в этих нескончаемых струях дождя, как лодочка, со всех сторон окруженная водой, хлещущей по крыше, по стенам, стучащей в стекла. Но внутри сухо, тепло; тускло, невесело светит керосиновая лампа с закопченным стеклом; в углу с иконами теплится лампада и придает этому маленькому пространству значимость и смысл...

Сижу, изнемогши, слушаю тишину, – вернее, барабанную дробь дождя. Как-то скорбно на сердце, пусто. Все мертво вокруг. Днем, когда смотришь на жизнь нашу монастырскую, внешнюю, – кажется, что-то делается, «кораблик» наш плывет на полных парусах в счастливую даль. Но вот после вечерней такой исповеди, когда отдернется завеса обманчивых внешних дел, пестрой суеты, искусственных слов и жестов, когда обнажится от всех одежд нагота душ, изъязвленных, глубоко изъеденных проказой страстей, так вдруг уныло, как-то безнадежно занает душа.

Вот еще этот дождь: как будто весь мир разделил на маленькие, одиноко плывущие лодочки; и каждый один на один с этим морем, холодным, страшным, бездонным, один на один с этим мраком душевным, с этой зловещей тьмой, из которой то и дело высовываются какие-то страшные рожи, злобно ухмыляются, грозятся и опять исчезают за пологом ночи.

Придет день и принесет только видимость света, иллюзию бодрой деятельности и плодотворного труда. На самом деле, уже давно глухая, черная мгла окутала мир сей! Как мало уже веры в нас, как мало жизни в нашем духе! Тяжелая какая-то сила всех прижимает долу, как будто гравитация земли усилилась во много раз: все стало невыносимо трудно в отношении к духовному; как будто все силы души придавлены

свинцом, нельзя пошевелиться, сделать решительное движение.

Все исповедуют холодность, скуку, полное безвкусие к молитве, даже страх перед всяким деланием духовным, вялость, сонливость, болтливость и шутовство, обжорство, уныние, озлобленность... Все христианское делается нехотя, «из-под палки», просто по расчету некой добропорядочной логики, без души, без радости, как будто выплачивается Богу тягостный оброк. Все испытывают какую-то жесткую сердечную окаменелость, которая никак не желает размягчаться ни от молитвы, ни от чтения, и если иной раз на малое время она как будто снимается с души, то так же скоро опять водворяется на свое обычное место! По-видимому, тот дух отступления, который святые отцы прошлого столетия уже замечали весьма усилившимся, предсказывали его еще большее распространение в мире, – он самый и душит нас все более; это как угарный газ, разъедающий глаза, вползающий в ноздри, сводящий судорогой дыхание и в то же время усыпляющий, обволакивающий сознание каким-то беспорядочным бредом. Все труднее находить глоток свежего воздуха, отталкивать от себя хаотичное нагромождение мыслей, возводить глаза к синеве неба. Как одряхлел этот мир! Уже и молодые, и юные – все как расслабленные старики.

Распутица

Наше время напоминает период страшной распутицы, когда осенью начнут лить дожди: всюду вязкая грязь, все пропитано водой, везде сыро, зябко, неуютно. Всякая деятельность становится затруднительна. Все, что ни начнет делать человек, валится из рук. Кажется и днем, будто вечер уже; в комнатах сумерки, как в затхлой пещере. Настроение вялое, унылое, полусонное... Вот такая у нас теперь погода и в отношении всего духовного. Вода – это грех, это плоть и плотская жизнь, это привязанность к материи, всегда стекающая вниз многозаботливость, власть тяжелого вещества над нашими легкими душами; это греховная сладость, манящая, опьяняющая, обещающая долгий, сладкий сон. Вся эта тленная влага наполнила собою все, всюду ее отравляющее испарение, как какая-то инфекция, как вирус какой-то, заражает собой всех, переходит от человека к человеку при легком прикосновении, при слабом вздохе. Не осталось ни одного свободного места, не зараженного, не пропитанного этой ядовитой сыростью. Постоянно налипает на ноги вязкая грязь греха, всюду его сладко-одурманивающее зловоние! Потому так трудно жить по вере! Приходится постоянно вытягивать глубоко увязающие – по колено – в эту жижу ноги, каждый шаг дается с трудом. В прошлые времена было гораздо суше на земле: не было такой распутицы, такой насыщенности грехом, было тверже, прочнее на земле, можно было найти еще в сторонке сухое место, обойти грязь. Теперь все размокло, раскисло от мокроты соблазна, весь мир как колеблющаяся, коварная болотная трясина.

Вот так и живем: унылая, дождливая, холодная осень!

Закатывающееся солнце

Три дня был в городе: крайне устал. Но все-таки иногда полезно выйти из монастыря, чтобы увидеть нашу жизнь в обители со стороны. Как сразу забываешься, перестраиваешься, втягиваешься в иные отношения с людьми, расстраиваешься, рассеиваешься и тут начинаешь ясно видеть, какая значительная разница между двумя этими мирами – городом и монастырем, даже современным монастырем. Только после такой «разрядки», изнеможения и опустошения начинаешь ценить монастырский уклад. И какая она ни есть сегодня – безобразная, неустроенная, нескладная – наша жизнь в обители, но в сравнении с миром – это действительно «иночество», нечто совершенно иное, существующее по иным законам, цинично попираемым миром. А мир, как пьяная, разнузданная, обнаженная блудница, которая уже и говорить, и думать, и шутить может только на тему разврата и блуда, оживляется, лишь увидев или услышав что-либо пошлое и похабное.

Какое странное сочетание: современное развитие науки, полеты в космос, фантастическая техника, компьютерные умы и тому подобное, и при этом современный человек на досуге по-прежнему радуется и «отдыхает» только при рассматривании чего-нибудь «веселенького» из области секса и насилия, растравливая самые низкие, животные – даже ниже, чем у животных, – страсти и прихоти. Какая опустошенность, примитивизм, «озверелость», – и все это на фоне «супертехники», «супернауки», «суперкомфортного» быта; все то же дикообразное, варварское скотство! Все направлено только на плоть, на оболочку. То, что под этим, хотят представить как какой-то аморфный, иллюзорный, мечтательный, розовый туман, который хорош лишь как фон для жизни по плоти. «Духовное» только то, что приятно подчеркивает и придает романтический привкус упоению грубо-телесным. Как при поклонении языческим изваяниям обожествлялась статуя, почитаемая богом, хотя внутри она

была пуста и даже могла быть наполнена арматурой, камнями с глиной; позолоченная же оболочка пленяла сердца. Даже самая скромная жизнь в обители сегодня есть уже значительное противостояние духу этого мира. Даже обычное в христианстве благочиние и благочестие в самых скромных формах и то уже редкость, уже слишком, и оно «не от мира сего».

Наша такая далеко не подвижническая жизнь, лишь воздержанная, вызывает у мирских недоумение: «Как это! Жить сегодня в лесу? Без электричества, без телевизора, без газет? Отказаться от права иметь семью? Это безумие, фанатизм, дикость!». Да, в мире сем уже как бы и места не осталось для монашества, пожалуй, что и вообще для христианства. Все и вся восстает против Бога и законов Его. Не были преувеличением предчувствия и предсказания святителя Игнатия (Брянчанинова) о грядущем отступлении.

«Времена, чем далее, тем тяжелее. Христианство, как Дух, неприметным образом для суевающейся и служащей миру толпы, очень приметным образом для внимающих себе, удаляется из среды человечества, предоставляя его падению его»⁸⁸.

«Христианство становится анахронизмом. Смотря на современный прогресс, нельзя не сознаться, что он во всех началах своих противоречит христианству и вступает в отношения к нему самые враждебные»⁸⁹.

«Очевидно, что христианство – этот таинственный духовный дар человекам – удаляется неприметным образом для не внимающих своему спасению из общества человеческого, пренебрегшего этим даром»⁹⁰.

«Закатывающееся солнце живо представляет собою состояние христианства наших времен. Светит то же Солнце Правды Христос, Он испускает те же лучи; но они уже не проливают ни того сияния, ни той теплоты, как во времена, нам предшествовавшие. Это оттого, что лучи не падают прямо на нас, но текут к нам лишь в косвенном, скользящем направлении»⁹¹.

«Священное Писание свидетельствует, что христиане, подобно иудеям, начнут постепенно охладевать к откровенному учению Божию, они начнут оставлять без внимания обновление

естества человеческого Богочеловеком, забудут о вечности, все внимание обратят на свою земную жизнь; в этом настроении и направлении займутся развитием своего положения на земле, как бы вечного, и развитием своего падшего естества для удовлетворения всем поврежденным и извращенным требованиям и пожеланиям души и тела. Разумеется, такому направлению Искупитель, искупивший человека для блаженной вечности, чужд. Такому направлению отступление от христианства свойственно»⁹².

«Идут, идут страшнее волн всемирного потопа, истребившего весь род человеческий, идут волны лжи и тьмы, окружают со всех сторон, готовы поглотить вселенную, истребляют веру во Христа, разрушают на земле Его царство, подавляют Его учение, повреждают нравы, притупляют, уничтожают совесть, устанавливают владычество всезлобного миродержца»⁹³.

«Положение Церкви и христианства самое горестное, горестное повсеместно. Предсказанное в Писании совершается: охлаждение к вере объяло и наш народ, и все страны, в которых доселе держалось Православие»⁹⁴.

«Дело православной веры можно признавать приближающимся к решительной развязке. Падение монастырей, значительно совершившееся, неминуемо. Одна особенная милость Божия может остановить нравственную, всегубящую эпидемию, остановить на некоторое время, потому что надо же исполняться предреченному Писанием»⁹⁵.

Многое, предчувствуемое и предрекаемое святым Игнатием, можно считать сбывшимся в годы страшного восстания на веру в эти последние 70–80 лет, но это лишь первые из тех «страшных волн», увиденных святителем. Теперь малое затишье, лишь обманчивое успокоение вод: вдали уже чернеют медленно надвигающиеся громады разрушительных волн, буря только набирает силу, хладнокровно раскачивая мутную бездну, приводя ее во все более катастрофическое колебание. Вот-вот – и уже весь мир поднимется в едином безумном порыве против своего Творца, объединится во всеохватывающем безрассудном стремлении воцарить, даже

обогаотворить самого дiавола. Скоро уже будут все дружно и ликующе вопить, как когда-то против Христа вопили: *распни, распни Егo*⁹⁶, – теперь в едином духе будут вопить: «Воцарим, воцарим, восславим его», обращая умиленные лица и простирая трепещущие руки к человеку, продавшему душу дiаволу.

Видя все это, помня все это, можно по-иному посмотреть и на современное монашество. В таком случае даже эти монастыри – при всей своей немоцности – крайне важны: ведь последнее поколение христиан, которому предлежит тягчайшее из когда-либо попускавшихся людям искушений, должно же где-то надышаться христианским воздухом, набраться сил, накопить «жирку», напиться «вина», веселящего радостью неземной, немного хоть «охмелеть», «утешиться», «обезуметь», «восхИтиться» сердцем к тому, что не от мира сего. Иначе как им и устоять против соблазнов антихристовых? Не вкусивший сладости духовного плода, не познавший радость, даруемую духовным вином, не станет дорожить ими, тем более обменивать на них свой жалкий сухарь, свои земные, временные надежды на малый покой и сиюминутный здешний «рай». Щедро изливает на нас Господь все блага – и духовные, и телесные; как много утешает и укрепляет современных жалких христиан, особенно монашествующих, благодать Божия! Как легко и быстро начинают строиться разрушенные здания монастырей, воскресать из руин храмы! Стоит только пожелать чего-либо современному христианину для удобства его внешнего устройства благочестивой обстановки – на все тут же является скорая помощь и содействие! Что это? Не срочная ли подготовка к последним событиям? Не на наше ли немоцное поколение выпадет жребий стать последним, не нас ли настигнет все то, о чем с таким трепетом и страхом говорили во все века христиане? Все похоже на то. И самые эти неслыханные внешние удобства, великое множество самых прекрасных, самых христианских наидушеполезнейших книг, которых, наверное, никогда во все века христианства не печаталось так много, так сразу и в таком наилучшем виде, не продавалось так дешево и так повсеместно (да и не читалось

так мало и так поверхностно), как теперь. Не те ли это апокалиптические «полчаса безмолвия»⁹⁷ пред началом ангельского вострубления и страшных конечных конвульсий умирающего мира сего?

«Отолсте бо сердце людей сих»⁹⁸

Как легко, причем незаметно, можно сделаться монаху скупым, мелочным, сварливым, скучным обывателем, – и все под прикрытием порядка, «чинности», «покоя», «монастырской тишины». Как эти «чинность» и «покойность» могут стать самоцелью и превращать монаха в сухого, мертвого и надменного фарисея, всегда мелко раздраженного и недовольного каждым встречным! Казалось бы, все делается для создания условий внутренней жизни, но до внутренней жизни дело так и не доходит, и вся борьба сосредоточивается на этом бесконечном «создании условий», а от такого «сизифова труда» иссыхают почему-то остатки жизни, душа быстро и неотвратно стареет, съезживается, замыкается в своем «эго». Человек, вместо того чтобы обретать все большее внутреннее богатство и распространяться в иной мир, сжимается, мельчает, делается все ограниченнее, скучнее, беднее и лишь приучается бережно возиться со своим старым душевным хламом, все более опьяняется прежними своими дурными навыками и услаждается тайными желаниями, – все это под покровом внешнего покоя и чинности. Так все в христианстве, когда оно останавливается на одной форме и не имеет содержания.

Так ведь и в природе бывает: любое живое существо, любое дерево, цветок, птичка, животное, человек как прекрасны, как интересны, но только отходит от них жизнь, некое таинственное содержание, как их тела начинают тут же разлагаться, гнить, издавать злосмрадие. Особенно же уродливые формы принимает безжизненная оболочка в монашестве: нет никого во всем мире прекраснее истинных монахов, однако нет и никого и ничего более уродливого и жуткого, чем монах негодный.

Казалось бы, уж кому-кому, а монаху более всего нейдет пристрастие к уютному быту, обывательское тяготение к «теплой квартирке», увешанной житейской мишурой, упокоение на вере в прочность и долговечность своего земного обустройства. Но

именно мы, монахи, стараемся устроиться теперь прочнее, надежнее, поуютнее, покрепче (даже – пожелезобетоннее) на этой рыхлой, дрожащей земле. Конечно, погрузиться в мир молитвы, остаться один на один с духовным миром, лицом повернуться к Богу и не опускать взирание на этот Лик ни ради чего и ни ради кого – все это требует и обособления, и сокрытия в себе, и отдельной кельи с минимумом удобств, и многого еще; но ни на минуту «создание условий» не должно оставаться без того самого делания, ради которого эти условия создаются. Когда человек перепрыгивает через овраг, то он еще только отталкивается ногой от одного края, а вторую ногу уже усиленно тянет к другому, пристально соизмеряет глазом расстояние и боится промахнуться или не долететь до противоположного края. Так и здесь: если усилие и старание направлять только на то, чтобы оттолкнуться от «сего берега» многомятежного, но не сосредоточиться вниманием, не сделать крайнее усилие и потугу сразу же коснуться другого «берега», то можно полететь в пустоту. А ведь как многие из нас оказываются именно в таком вот положении, и не только отдельные лица, но и, как видно, целые монастыри.

Да, этого надо бояться, когда монах начинает жить, как некий пенсионер, списанный с дороги жизни, как сорная травка, прозябающая у пыльной обочины, скучно покачивающаяся вслед проносящимся по дороге мимо нее экипажам, вся покрытая пылью. Как страшно – так вот жить, лениво потягиваясь, зевая, шаркая ногами, нехотя переходя из кельи в церковь, из церкви в трапезную, опять в келью... И оживать только при чаепитиях, новостях из мира, неожиданных гостях. Как страшно, когда в монахе иссыхает живой источник, потухает веселый огонек и остается только сырое, затхлое тепло, мало-помалу все выветривающееся. Тогда он подобен кораблю, севшему на мель: нос его увяз в песке, ум и сердце отягчены земной тяготой, все помыслы, как липкий, мокрый песок, стелются по дну, не дают сдвинуться с места, поднять голову к небу; волны наносят один сокрушающий удар за другим – так демоны неустанно нагоняют одну волну соблазнов за другой, усиленно стараясь сокрушить все остатки крепости души, чтобы

она совершенно расслабилась, развалилась, отдала все внутренности свои натиску воды, чтобы все до конца наводнил грех, не осталось и капли надежды. Тут уж надо бы все бросить и – хоть вплавь, хоть в ледяную воду – плыть изо всех сил, выбираться на берег, не взирая уже на уютную каюту на корабле, на дорогие сердцу вещи, развешанные по стенам.

Медленно, незаметно подбирается эта сухость, эта покойная привычность к типичной размеренности, все «ряд по ряду», «чин по чину», подкрадываются онемение, бесчувствие, черствость, сужаются сосуды, несущие жизнь. Как легко превратиться в сухой ствол, в красивый силуэт раскидистого дерева, которое лишь по весне обнаружит, что мертво, когда другие деревья выпустят почки, украсятся листвой. А как трудно из такой вот усыпляющей, упорядоченной череды «правильных» дел рвануться, испугаться, забеспокоиться, когда обнаружишь в себе этот яд, эту чреватую страшными последствиями сухость. А какой-то лукавый голос советует «не беспокоиться», «ждать пока», ведь «ничего страшного не происходит», «внешне все спокойно», «ведь никто не может к нам пока придраться». Но как раз надо было бы забеспокоиться при первых признаках болезни. Ведь это – чахотка, духовная чахотка.

Как важно скорее добавлять огонь к огню: «Гаснет! Скорее, скорее – сухих щепок, скорее: мой огонь гаснет!». А как у многих он уже погас...

«Теплохладность»! Какая страшная болезнь! Какого серьезного требует изучения, анализа. Как важно было бы делать всем верующим прививки от этой страшной болезни сразу же, в самом начале их духовной жизни.

Где ж врачи?!

А наши скорби – откуда?

Святой Пахомий увидел нечто очень страшное: ему представилось, что некоторые из иноков находятся в пасти львов, иные в пасти крокодилов, другие среди огня, а некоторые под горою, на которую напирал волны: они стараются взойти на гору, но все их усилия оказываются тщетными. Они все восклицали: «Господи, помоги нам!».

Другой раз в восхищении он видел какую-то очень глубокую, крутую и мрачную яму, где ходят бесчисленные иноки, не различая один другого, как слепые, наталкиваются друг на друга. Некоторые делают страшные усилия, чтобы выбраться из этой ямы. Одним удается достигнуть до половины глубины, но потом они срываются и падают. Многие жалостно взывают о сострадании. Но некоторым удавалось наконец добраться до самой верхней точки этого рва – самого края отверстия, откуда падавший свет освещал для Пахомия этот страшный мрак: великую хвалу воздавали тогда они Богу. Пахомий понял, что в этом видении ему открыто было будущее состояние душ иноков. Пахомий с великой скорбью взывал к Богу, прося Его милости к монастырям и монахам. Он почти отчаивался за них.

В ответ он слышал голос: «Пахомий, не забывай, что ты человек: все зависит от Моего милосердия».

Простершись на земле, Пахомий молил Бога о милосердии к нему. Тогда он был утешен явлением Самого Христа Спасителя в виде человека молодых лет, неизреченной красоты, с терновым венцом на главе. Христос открыл ему, что его ученики будут взирать на него как на светильник. Их поведение и внутреннее настроение будут добрые. Им будут подражать последующие иноки. Но настанет время, когда вера ослабеет и пороки усилятся. Нерадение и пристрастие к чувственным благам будут отличать иноков того времени. Духовный мрак усилится. Они будут бороться друг с другом за обладание мирскими благами. Истинных подвижников будет очень мало. Они не будут иметь руководителей. Сами себя они должны будут возбуждать к деланию добра и удалению от зла. Конечно,

их подвиги будут иметь мало цены по сравнению с подвигами первых монахов. Однако они получают награду наравне с первыми, потому что им придется немало страдать от тяжелых для иноков условий современной им жизни⁹⁹.

Это откровение было около 340 года... И все, что в нем открыто, открыто именно о нас и имеет самое прямое к нам отношение. Святой епископ Игнатий более ста лет назад засвидетельствовал: «Подвигов нет... руководителей – нет: одни скорби заменяют собою все!»¹⁰⁰. Да, но какие скорби? – Именно скорби оттого, что человек желает истинного монашества, всем сердцем стремится к нему, но не находит ни условий, ни учителей, ни тех, кто подбодрил бы его примером и воодушевлением, в себе самом находит ежеминутно измену и отступление от избранного пути. Но много ли таких скорбящих? Часто ли скорбим из-за этого? Ищем ли и не находим – и потому скорбим? Или и не ищем, но томимся от угрызений совести – и скорбь именно из-за этой измены, фальши? Где грань между скорбью спасительной, ходатайствующей о милости, и скорбью пагубной – предчувствием своих отверженности, отчужденности от Бога? Немногие из нас могут уповать на спасение через претерпеваемые здесь скорби. Но самые эти скорби нуждаются в придирчивом рассмотрении, откуда они, где их корень.

Добродетель пренебрежена

Блаженный Нифонт Цареградский, отвечая на вопросы одного брата, сказал: «Сын мой, до самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями; потому что тогда никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги. Занимающие престолы священства во всем мире будут вовсе не искусны и не будут знать художества добродетели. Таковы же будут и предстоятели монашествующих, ибо все будут низложены чревоугодием и тщеславием и будут служить для людей более соблазном, чем образцом, посему добродетель будет пренебрежена еще более; сребролюбие же будет царствовать тогда, и горе монахам, богатеющим златом... Многие, будучи одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь в широте широкого и пространного пути»¹⁰¹.

Воистину, это сбывается сегодня в точности на нас, бедных! «Священники», «предстоятели монашествующих» «не будут знать художества добродетели»! Действительно, всюду все силы бросаются на одну внешность; в монастырях – на строительство, на пышность богослужения, на пение, иконы, оклады, утварь, внешний типикон, внешние правила и чины, на организованность. Но при всем этом как мало места в нашем труде отводится именно «художеству добродетели»! Как мало нам знакома действительная борьба со страстями! А ведь видов фарисейства очень много, и есть такие, что имеют наружность самую благочестивую и богоугодную. При всех этих налаженных и отточенных чинах и правилах вполне может оставаться простор и область покойного пребывания для многих и многих наших страстей, которые легко приспособляются к любым

«трудным условиям» и находят для себя пастбища на самых крутых горах. Как мы сегодня бываем нетерпимы к нарушению внешних порядков и как спокойно проходим мимо зренья своих страстей! Как мы умеем красноречиво говорить на «духовные темы» и как бываем немногословны, когда собственная душа наша нуждается в обличении! Даже худшее! Как часто предстоятели видят страсти у своих подопечных, замечают что-то неладное, но «смежают очи», чтобы не усложнять взаимоотношения, не входить в горячую битву, ненароком не оттолкнуть человека, который весьма выгоден и полезен для внешнего улаживания дел, и отделиваются легкими намеками на вредность того или другого пристрастия, а то и вовсе не считают болезненную наклонность вредной и даже иной раз помогают развивать какую-либо страсть. К сожалению, и такие случаи встречаются все чаще.

Лукавое мудрование

Как развалина, находящаяся вне города, служит к складу всех смрадных нечистот, так душа ленивого и слабого в исполнении монашеских постановлений соделываетсяместилищем всех страстей и всякого зловония. Преподобный Антоний Великий¹⁰²

Нет несчастнее и ближе к гибели людей, не имеющих наставника в пути Божиим, ибо что значит сказанное: *имже несть управления, падают, аки листвие?*¹⁰³ Лист сначала всегда бывает зелен, цветущ и красив, потом постепенно засыхает, падает, и наконец им пренебрегают и попирают его. Так и человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, ко бдению, безмолвию, послушанию и к другим добрым делам; потом усердие это мало-помалу охладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, подобно листу, нечувствительно иссыхает, падает и становится наконец подвластным и рабом врагов, и они делают с ним что хотят»¹⁰⁴.

Какая точная картина нашего бедствия! Как отцы просто и ясно обрисовывают саму болезнь и ее причины! Это мы все «философствуем», ищем глубоких «психологических» объяснений, называя простые вещи набором сложных, непонятных слов, грубые страсти – «тонкими духовными процессами», и никак не хотим узнать их в лицо, дать им их настоящее имя. Сколько тяжелейших духовных травм и недугов происходит в нас от нарушения самых основных законов монашеской и христианской жизни, а вовсе не из-за каких-либо «таинственных» и «малоизученных» процессов! И когда мы, изнемогая от огромной тяжести своих падений, преткновений, неудач в духовной жизни, наконец приходим за советом к духовнику, то часто ждем какого-то сложного и мудреного, «психологического» рецепта для уврачевания своей болезни. Но, если нам предлагают простое, так уже много раз слышанное и читанное нами правило – «азбучное», мы в сердцах фыркаем и уходим обиженные: это, мол, я и сам знаю, – подобно

Нееману Сирианину, пренебрегавшему водами иорданскими, как чем-то слишком обычным¹⁰⁵. Да, точно: мы знаем эти «простые вещи», да уж очень не хотим окунуться в эту холодную воду, не желаем протрезвиться от пьянства усладительной неги страстей, вот и лукавим, ищем все что-то «тончайшее» и «психологичное», на самом деле ищем средства обманчивого, которое усыпит совесть, но не отгонит греховную усладу, не запретит привычную приятность, к которой привязалась душа.

Потому-то мы теперь так много и читаем самых различных книг, жадно кидаясь от одной к другой, что делать из прочитанного ничего не собираемся, хотя ищем все новое и новое, словно надеемся когда-нибудь найти, вычитать, применить к себе что-то очень тонкое и духовное, подобрать к своей душе какой-то особый, сложнейшей конфигурации ключ, тогда только что-то щелкнет в сердечной скважине, душа раскроется и потечет в нас «духовная жизнь». Но сколько самых важных, самых необходимых, истинно лечебных средств мы оставляем без внимания и только все больше разболеваемся!

Словеса лукавствия

Каждый день на вечерне читаем: *Господи... не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не-пщевати вины о гресех*¹⁰⁶, то есть не дай мне, Боже, изобретать разные лукавые оправдания и изыскивать хитросплетенные словеса, лишь бы обезвинить себя, смягчить свою виновность, представить свой грех почти безобидным, вполне естественным, как будто само собой вытекающим из сложившихся обстоятельств. Каждый день в храме слышим эти слова, но тут же, через минуту, поступаем «в точности наоборот». Сегодня все постоянно оправдываются. Большая часть наших разговоров – это выгораживание себя, самооправдание и всяческое выставление себя в наиболее благороднейшем, прямо-таки страдальческом виде. Не говоря уже о том, что неверующий мир постоянно только и оправдывает по-всякому страсти и грехопадения всех видов, составляет пространные учения и науки, пытающиеся все низкое и греховное представить как вполне естественное, доброе и даже необходимое для здоровья нервной системы человека.

Но что – мир? Мы, верующие, постоянно занимаемся тем же: как часто на исповеди человек называет грех и тут же добавляет какие-то поясняющие его обстоятельства, причем такие, которые едва уловимо стусеивают яркость греховного поступка, всю тяжесть зла переносят на что-то, стоявшее вне самого человека и способствовавшее развитию совершенного преступления. Часто даже само наше «приготовление к исповеди» – это не настраивание на откровенность, не приведение себя в расположение прямоты и покаянного самообличения, а совсем наоборот: подбор слов, фраз, такого рода речи, при которых мы и сказали бы о своих грехах, но как-то мягко, так, чтобы и особого стыда и затруднения не испытать. Напряженно подбираем такие выражения, такие наименования греха, чтобы «убить сразу двух зайцев»: и грех объявить, и себя не принизить. Даже в мелочах это повсюду! К примеру, кто-то в монастыре разбил стакан или сломал топор, проходит

настоятель мимо, провинившийся говорит ему: «Вот, у меня стакан разбился» или: «Вот, сломался топор». Настоятель – в ответ: «Гм...». А что ему сказать? – «Бог простит!»? Так кого же? Стакан или топор – за то, что они такие непослушные и своевольные: берут да и ломаются без разрешения? Как просто ведь сказать: «Отче, прости, вот я разбил». И это нам трудно – почему? Нам трудно даже немного повиниться, даже иметь чуть виноватый тон, голову смиренно опустить. Как-то неудобно, неловко, стыдно. Значит, мы все время пребываем в состоянии внутренней успокоенности насчет себя, только тогда мы чувствуем себя уютно и хорошо, когда мы в глазах людей хорошие, без зазоринки. Нам не по себе, когда нас хоть в чем-нибудь укоряют.

А ведь христианин с утра пораньше на молитве себя настраивает на чувство своей крайней «никуданегодности», своей во всем повинности, ко всем грехам причастности. Куда же девается это в жизни нашей? Значит, произносимые нами на молитве слова одна формальность, одно фарисейство? А ведь начинать-то, пожалуй, и надо с этого. Не зря же и служба каждого дня начинается этими словами. Пока сердце наше не отклонится от болезненного навыка *непщевати вины о гресех*, ни о какой серьезной духовной жизни не может быть и речи. Дверь во внутренний мир духовного делания и борьбы со страстями остается для нас наглухо закрыта!

Как странно...

Понравилось у Ельчанинова: «Люди многое способны понять в жизни, многое тонко подмечают в чужой душе, но какое редкое, почти не существующее явление, чтобы человек умел видеть самого себя. Тут самые зоркие глаза становятся слепы и пристрастны. Мы бесконечно снисходительны ко всякому злу и безмерно преувеличиваем всякий проблеск добра в себе. Я не говорю уже о том, чтобы быть к себе строже, чем к другим (что собственно и требуется), но если бы мы приложили к себе хотя бы те же мерки, как к другим, – и то как на многое это открыло бы нам глаза. Но мы безнадежно не хотим этого, да и не умеем уже видеть себя, и так и живем в своей слепой успокоенности.

А наша духовная жизнь даже и не начиналась, и не может начаться, пока мы не сойдем с этой ложной позиции»¹⁰⁷.

Действительно! Как странно! В жизни мы почти всегда и повсюду эгоисты, все желаем повернуть к себе, иметь от всего выгоду, но как дело коснется духовной жизни, в нас сразу же откуда ни возьмись самая горячая «самоотверженность», «жертвенность, безжалостная к себе». Вот мы уже готовы принести «в жертву ради ближнего» заботу о своей душе, готовы подвергнуть риску свой собственный путь спасения, ежеминутно терять мир сердечный, лишь бы «вытянуть ближнего из греховных пут», направить на спасительную стезю. Мы ежечасно бываем пленяемы гневом не почему иному, как потому, что зорко следим за каждым шагом ближнего и находим, что ближний все делает «небогоугодно», «не вполне правильно», что «если он так будет вести себя, непременно повредится», и «мы не можем взирать на это хладнокровно и бездейственно». И как «рвется» наше сердце, опаляемое «ревностью» «по правде Божией», печалью «о нарушении святых законов»... Да, конечно, мы признаем, что и сами-то часто и даже почти всегда делаем что-то не так и даже порой вспоминаем, что то, в чем теперь мы упрекаем своего ближнего, полчаса назад совершили сами, но тут же объясняем себе: «Конечно, и я не святой, но ведь не буду же из-за этого

оставлять брата без заботы и печали о его спасении». Мы горячимся, осуждаем, носим в сердце постоянный какой-то пронзительный ветер, волнение чувств, вздымающее пену, как при морском шторме, – все это клокочет где-то под сердцем, облекаясь в трогательный вид правдоискательства и ревности по Богу...

Но куда вдруг исчезла такая неотвязная от нас наша забота о самих себе, всегдашняя повернутость во всем к своей личности? Почему тогда, когда с ближним происходит явное и очевидное для всех преткновение или даже большое горе, мы не находим в себе горячего сочувствия, скорби, печали, но чаще всего испытываем даже некоторую странную тайную радость и только с некоторым усилием заставляем себя наружно выражать сострадание? Почему, когда видим брата молящимся, постящимся, трудящимся, преуспевающим в добродетели более нас, вовсе не ликуем, не любимся им, не умиляемся, но тут же испытываем какое-то внутреннее неудобство, а когда слышим похвалу в адрес ближнего, нам отчего-то хочется прокашляться? Почему?

Об этом стоит задуматься!

Смотрящий на тени

Гневливый, раздражительный человек подобен какой-нибудь скрипучей телеге на жестких колесах, обитых железом, без рессор, безо всяких амортизирующих механизмов. Каждая кочка на дороге, каждый камушек, любая ямка, всякая неровность отдается резким содроганием, внезапным трясением всего экипажа, встряхивает сидящего. Каждая ямка чуть побольше или камешек покрупнее, тем паче при быстрой езде, сопровождается ахами, вскриками, болезненными ударами, синяками и частой бранью возницы. Весьма досаждающая телега! Отсутствие рессор – это недостаток терпения, покладистости, а вернее сказать, – смирения, преданности воле Божией. Такому человеку окружающий мир представляется беспорядочным «нагромождением досадных случайностей», «злополучным скоплением всевозможных несурaziц и неудобств». Для него череда событий, случаев, обстоятельств не спасительный Промысл Божий, не полезное душе испытание, не поприще духовной борьбы, не очистительный огонь, выжигающий гниль и сор из его сердца, а «бессмысленная, обидная несуразность», складывающаяся, действующая по какому-то «закону подлости».

Вначале это малодушие, близорукость души, когда человек «не видит дальше своего носа». Жизнь воспринимается обрывками, кусочками, обрезками. Может ли произвести приятное, умиротворяющее впечатление прекрасная картина, если мы будем рассматривать ее через узкую трубочку, видеть только мелькание, чередование пятнышек цвета, беспорядочно, безо всякой связи сменяющих друг друга? Но далее дело идет все хуже. Гордой душе мало быть немирной: все вымеряя через свое больное «я», она ищет в этом «хаосе» некий целенаправленный злой порядок и его устроителя – злодея, виновника всех этих ее «заключений» и «беспорядков». Она начинает со злой ухмылкой следить за досаждающими ей неприятностями и уже находит за ними некоего распорядителя, некоего творца всех этих «подлостей» и «каверзностей», ей

представляется, будто диавол всемогущ, будто Промысл Божий немощен и едва ощутим.

Скоро ей уже кажется, что весь мир устроен по закону коварных досаждений, так, чтобы все непременно оборачивалось человеку во зло, в неудачу. И вот такой больной душе даже доставляет некоторое удовольствие фиксировать все эти «ловко подстроенные вредительства», она сама повсюду выслеживает присутствие некоего скрывающегося злоумышленника. Она начинает посмеиваться, злобно ухмыляться, юморить – мрачным, «черным» юмором – по поводу всех этих «приключений». Но, по сути, здесь душа не козни диавола распознает, а сами судьбы Божии представляет делом «злого гения». Беда, когда человек везде видит одного только диавола и все «неудачные обстоятельства» приписывает лишь злой силе. Невер в лучшем положении, чем такой «верующий». Он забыл, что *ни один волос с его головы*, ни один лист с дерева, ни одна птица с неба не упадут без ведения, без попущения Божия¹⁰⁸. Говоря, что миром правит «закон подлости», он, по сути, зло приписывает Промыслу Божию. Какая страшная хула! А как она распространена ныне! Как часто мы иронизируем по поводу «каверзного» стечения обстоятельств, явно преувеличивая власть сатаны. Ему это на руку. Но что козни лукавого на фоне прекрасной картины судеб Божиих?! Всего лишь тонкие черные контуры, еще ярче выявляющие красоту цветов, тени, придающие картине большую живость, подчеркивающие светлость, ясность оттенков.

Как мягкие покрышки на колесах прогибаются над неровностями дороги, опираясь на окружающую неровность площадь, делают эту неровность меньше, незначительнее, так и долготерпение, великодушие сообщают значимость не самим происшествиям, а тому, что им предшествовало и за ними последовало, так что сами они видятся уже не «досадной случайностью», а ступенью, важным этапом, неотъемлемой частью цельной нити жизни, из которой и сплетается наконец чудное кружево судеб мира Божиего.

Жалкое зрелище

Когда отвращается Бог от души за ее предательства... или нет: сама душа за свои измены теряет дерзновение к Богу и почти не надеется быть услышанной, когда «медная стена» преграждает ей путь к духовному, какая туча, какое темное царство обволакивает ее, какое жалкое тогда зрелище душа человека! Жуткое напрашивается сравнение: вот червь на асфальте, на которого наступила тяжелая нога прохожего: одна половина его раздавлена, влипла в асфальт, другая еще жива – судорожно вздымается, напрягается, дрожит, силится ползти, трясется от боли, как будто тянется к небу; кажется, простерла бы руки, взывая о помощи, но рук нет, голоса нет; одна безмолвная потуга оторваться от этой своей умершей, прилипшей к земле половины.

Что мы можем сами? Можем ли сами хоть немного помочь себе? Так же, как тот раздавленный червь! Только в муке раскачиваться, содрогаться, тянуться куда-то вверх, оставаясь болью прикованными к земле. Пока не вырвется душа из этой самости, не прорежется голос ее, призывающий Спасителя своего, пока не уверует в возможность чуда, в его необходимость для нее, до тех пор все так же будет маяться, беззвучно стонать в никуда... И как много душ именно в таком вот положении!

А ведь чудо вполне может совершиться: есть сила, способная исцелить, оживить, воскресить растоптанное и раздавленное, вдохнуть в мертвеца новую жизнь, – именно что не «подлечить», а «воскресить», даже заново «родить», превратить «червячка» в красивую и веселую летнюю бабочку, в лучах солнца порхающую с цветка на цветок, сладко пьющую нектар, которая будет так счастлива, что даже не захочет вспоминать об ужасах, пережитых, когда она была маленьким червячком, ползала по грязи и набивала брюшко этой грязью. Чудо великое, совершись и над нами!

Вовремя опомниться

Явно видишь иной раз, как приходит к душе прежний какой-нибудь ее «дружок» – грех, с которым она водила короткое знакомство в прошлом; приходит и зовет ее, кличет, просит открыть дверь «по старой дружбе», впустить на часок-другой, хоть на время вернуть подзабытую сладость безумной свободы. Это тот, изгнанный Христом дух, изголодавшийся, соскучившийся по бывшей своей распутной подруге, набродившийся по местам безводным и беспутным с такими же, как он, бездомными, с шайкой друзей-разбойников, говорит им: «Ну-ка, сходим к моей прежней хате, посвистим, может, чего и выкрутим веселенького, ха-ха-ха!». И идут. Бродят у ограды денно и нощно, стерегут душу, прохаживаются под окнами, посвистывают, побрасывают камушки в стекла, шепчут через приоткрытые ставни разные пошлости, свистят хрипло: «Не забыла, как ты..?», «А тогда-то вот было, помнишь?». И встает внезапно перед оком души ясно-ясно сладостная картина – одна, другая; бежит цепочка, как от искры пламя по сухой травинке, – светящаяся змейка, за ней еще; до поры затухают, но недалеко и до пожара. Душа бежит этих соблазнов, шарахается от окон. Но нечисть лезет и лезет отовсюду: за каждой дверью она, в каждом темном углу. Уже в любом шорохе все те же напоминания, подстрекания. Только-то и успевай отрешиваться от нее. И душа, бедная глупышка, ленивая и расслабленная, несколько отупевшая от скуки, недолго так противится: вот уже и прислушивается, сначала позевывая и как бы от «нечего делать», потом оживает в ней что-то такое теплое, даже жаркое, такое родное-родное и такое сладкое – до дурноты. Одна молния проходит в сердце, другое жгучее прикосновение – и тает, тает оно, уже само ищет повторения этой теплой волны. Уже кажутся те свистуны не бесстыдными хулиганами, а забавными проказниками, вовсе не такими уж и страшными, даже симпатичными.

Как точен этот образ, столь часто употребляемый святыми отцами в отношении души: вот так, мол, блудница, имевшая

прежде множество любовников, которая много пьянствовала, бесчинствовала, безобразничала, вдруг оказалась в милости у одного знатного, богатого, славнейшего и красивейшего человека, который пожелал исхитить ее из бездны падения, привлечь к иной, святой и благопорядочной жизни, воскресить ее попорченную и уничиженную красоту. Он берет с блудницы обещание навсегда оставить прежнюю распутную жизнь, порвать все греховные связи, забыть свое нечестивое окружение, раскаяться в совершенном, перечеркнуть все это грязное прошлое, и на этом основании он готов взять ее в жены, сделать знатной, богатой, любимой всеми, и так, что никто даже не посмеет одно плохое слово шепнуть о том, что было прежде. И вот она живет в новом доме, трудится, обучается новым манерам и порядкам жизни, борется со своими старыми привычками и наклонностями. Но бывшие дружки ее не забывают, приходят под окна, когда нет в доме хозяина, зовут прежнюю свою подругу.

И вот если душа неревностно хранилась ото всего страстного, жила рассеянно, раздвоенно, только малой частичкой сердца читла жениха, то как ей удержаться от сладостных позывов на прошлое? И вот она томится и млеет, шатается, как пьяная, колеблется меж двух тяготений... И если решительно не опомнится, не отвергнется этого губительного двоедушия, то скоро, будто бы «сама того не желая», забудет запереть дверь, а затем как бы «помимо воли» окажется в руках соблазнитель и опять, как бы «не имея сил противиться», уже и отдастся греху, а затем, отчаявшись в исправлении, «махнув рукой» на свое спасение и избавление, без удержу, как умалишенная, будет пить и пить тошнотворную сладость, уже даже не ради удовольствия, а может, и с какой-то сатанинской злостью и ненавистью к добру, в противность всему здоровому и благостному. Будет пить и пить этот грех до дурноты, до рвоты, боясь перестать, боясь мук раскаяния, боясь протрезветь и увидеть свое жуткое, обезображенное лицо. Нет, душа! Тебе надо вовремя опомниться, уже теперь же спохватиться, испугаться! Как только увидела в себе начало заигрывания с грехом, эти жесты, взгляды, помедливания, выдающие

кокетничание с соблазном, – так поднимай тревогу, зови помощь: «Скорее, скорее: огонь в доме!».

Но как часто душа не то что заигрывает со смертью, а уже почти согласна пасть во все бездны зла, даже готова дать согласие на самый страшный грех, готова изобретать новые и новые падения, чуть ли не сама становится советчиком диаволу, уже стоит лицом к лицу с соблазнителем и улыбается ему; но вот еще срывается с уст едва слышное: «Не остави, Господи, не остави погибнуть мя до конца в безумии моем...». И даже от этих слов – маленьких, слабых, едва движущихся – исходит пламя, разлетаются искры и гонят смерть, не дают ей сделать последний прыжок к оцепеневшей жертве, схватить, унести в свое логово. Вот так бредет душа по самому краю бездны. И как еще не оборвалась, как еще не полетела в самую пропасть? «Не остави, Господи...».

Кровь, кровь, кровь... Нет Духа! Кровь! Она, она это все кричит, бьется, суетится. Когда же придет Дух, запретит крови, уймет эту бунтовщицу, эту истеричку? Когда она умолкнет, умирится, побежит тихим, кротким ручейком, не выходя из своих пределов? Но без подвига, без борьбы – не умолкнет! А как, как станет «подвизаться» расслабленный, прикованный давнишней болезнью к одру? Нет никаких сил, тело онемело, мышцы почти атрофировались от долгого бездеятельного лежания, само желание восстать – и оно уже угасает.

Остается разобрать кров дома, в котором Господь. С жалкими воплями войти к Нему так, как обычно никто не входил. Проникнуть через кров со своим полуживым «мертвецом» – воплями умирающей души, стонами, причитаниями – как только можешь; пусть с неживыми, только выпускающими еще последние вздохи жизни чувствами, этими «бедными родственниками», чтобы любой ценой быть представленным пред лицом Господа – не «по чину», даже «дерзко», перескочив через все «приличия», без «порядка очереди», кричать о спасении: «Господи, исцели!», «Бог мой, исцели!», «Пес есмь аз, струп, язва, червь, наполовину раздавленный, но исцели!».

Ключ, открывающий внутреннюю жизнь

Очень важную истину открыл мне святой Феофан Затворник: все я недоумевал, как собрать мысли, как перестать развлекаться и расточаться на разные глупые мечтания. Оказывается, необходимы три главных приема. Первый – постоянно хранить чувство присутствия Божия, что Господь близ, что Он тебя всего видит, что Он совсем рядом. «В сем памятовании надо всячески укрепиться до того, чтобы оно было неотходно от внимания. Бог везде есть и всегда с нами, и при нас, и в нас есть. Но мы не всегда с Ним бываем, ибо не помним о Нем и, потому что не помним, позволяем себе много такого, чего не позволили бы, если бы помнили. Возьмите на себя труд навекать этой памяти. Тут ничего особенного не требуется, только намерение принять и напрягаться помнить, что Господь в Вас есть, и близ есть, и смотрит на Вас и в Вас так же зорко, как кто смотрел бы Вам в глаза. Что бы Вы ни делали, все помните, что Господь близ и смотрит. Станете трудиться навекать сему и привыкнете и, как только привыкнете или еще только мало-мало навекать станете, увидите, какое спасительное действие происходит от этого в душе. Не забывайте только, что память о Боге надо иметь не как о всякой другой вещи, но соединять ее со страхом Божиим и благоговейством. Благоговейными люди все от этого бывают»¹¹⁰.

«Мысли ума нашего все обращены на земное, и никак не подынешь их к небу. Предмет их – суетное, чувственное, грешное. Видали вы, как туман стелется по долине? Вот это точный образ мыслей наших. Все они ползают и стелются по земле. Но, кроме этой низкоходности, они еще бурлят непрестанно, не стоят на одном, толкутся, как туча комарей летом. Между тем они не остаются без действия.

Нет, под ними лежит сердце, и от них в сие сердце непрестанно падают удары и производят соответственное себе действие. Какая мысль, такое и движение сердца. Отсюда то радость, то досада, то зависть, то страх, то надежда, то

самоуверенность, то отчаяние – одно за другим возникают в сердце. Остановки нет, и порядка никакого, так же как и в мыслях. Сердце непрестанно дрожит *от чувств*, как осинов лист.

И на этом дело не останавливается. Мысль с чувством всегда рождает *желание*, более или менее сильное. Под мятущимися мыслями и чувствами беспорядочно мнутся и желания: то приобрести, другое бросить; одному подбροхотствовать, другому отомстить; то бежать от всех, то выступить на средину и действовать; в одном послушаться, а в другом поставить на своем, и прочее, и прочее, и прочее. Не то чтобы все это исполнялось, но загадки – то на то, то на другое – непрестанно роятся в душе. (Присмотрите за собою, когда, например, сидите Вы за работою; все это увидите происходящим в себе, как на сцене.)

Так вот какое у нас нестроение и смятение внутри. От него нестроение и в жизни, и мрак какой-то вокруг. И не ждите порядочной жизни, пока не уничтожите этого внутреннего нестроения. Оно и само по себе много зла причиняет, но особенно оно недоброкачественно потому, что к нему подседают бесы, и крутят, и мутят там внутри еще более, направляя все на зло нам и на нашу пагубу»¹¹¹.

«Если бы для исправления нашей внутренней жизни достаточно было захотеть и все бы там явилось в наилучшем виде, или дать слово и за словом тотчас явилось бы и дело, то Вам более не о чем было бы и хлопотать... Но таков уж закон нравственно-свободной жизни, наипаче в существе поврежденном, что и твердая решимость есть, и благодатная помощь готова, а все же надо напрягаться и бороться, и прежде всего – с самим собою. ... Требуется и предлежит усиленный труд над собою, над своим внутренним, – труд и усилие, обращенные на то, чтобы царствующее внутри нестроение уничтожить и вместо него водворить порядок и строй, за чем последует внутренний мир и постоянное обрадовательное состояние сердца. ... Внутри нестроение: это вы опытно знаете. Его надо уничтожить: этого вы хотите, на это решились. Беритесь же прямо за устранение причины сего нестроения.

Причина нестроения та, что дух наш потерял сродную ему точку опоры. Опора его в Боге.

Итак, первое: *надо навикать непрестанному помятованию о Боге, со страхом и благоговеинством. ... Все с Господом будьте, что бы Вы ни делали, и все к Нему обращайтесь умом, стараясь держать себя так, как кто держит себя пред царем. Скоро навикнете, только не бросайте и не прерывайте. Если будете добросовестно исполнять это небольшое правило, то этим внутреннее смятение будет стеснено изнутри и хоть будет прорываться то в виде помыслов пустых и недолжных, то в виде чувств и желаний неуместных, но Вы тотчас будете замечать сию неправость и прогонять этих непрошенных гостей, спеша всякий раз восстанавливать единомыслие о едином Господе»¹¹².*

«Чтобы удобнее навикнуть помятованию о Боге, для этого у христиан ревностных есть особый прием, именно непрестанно повторять коротенькую, слова в два-три, молитовку. Большею частию это есть: *Господи, помилуй! Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешную!* ... Ходите ли, сидите ли, работаете ли, кушаете, ложитесь спать – все твердите: *Господи, помилуй! Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешную!* От долгого упражнения в этом слова эти так навязнут на языке, что сами собою будут повторяться. А это очень остепеняет парение и блуждание мыслей. Но опять не забудьте соединять с словом сим благоговеинство»¹¹³.

«Воодушевляю Вас! Возьмитесь поретивее и продолжайте не прерывая – и скоро достигнете искомого. Установится благоговейное внимание в едином Боге, а с ним придет и мир внутренний. Говорю: скоро, однако ж не чрез день или два. Потребуются, может быть, месяцы. О, когда бы и не годы! Просите Господа, и Он Сам Вам поможет.

В пособие к сему приложите и следующее: *ничего не делать, что запрещает совесть, и ничего не опускать, что велит она делать, – большое ли то или малое.* Совесть всегда есть наш нравственный рычаг. Что внутри нас детки наши – мысли, чувства и желания – предаются непозволительной резвости, причина сему, между прочим, и та, что совесть

потеряла силу. Возвратите ей силу, изъявляя полную ей покорность. Вы теперь просветили ее, выяснив все, что Вам должно делать и чего не делать. Извольте же следовать сему неуклонно и так решительно, что хоть умереть, а ничего против совести не позволять себе сделать. Чем решительнее будете так поступать, тем могущественнее будет становиться совесть, тем полнее и сильнее будет она внушать Вам должное и отклонять от недолжного и в делах, и в словах, и в помышлениях, – и внутреннее Ваше будет спешнее упорядочиваться. Совесть с благоговейною памятью Божиею – биющий ключ истинной духовной жизни. ...

Больше этих двух правил ничего и не требуется. Дополните только их *терпением*. Вдруг не придет успех, надо ждать, трудясь, однако ж, не утомимо. Надо трудиться и, главное, ни в чем не уступать себяугодию или мироугодию. Непрестанные будут противления начатому порядку. Надо одолевать их, следовательно, напрягать силы и, следовательно, терпеть. Облекитесь же в это оружие всемогущее и никогда не падайте духом, видя неудачи. Все придет со временем. Воодушевляйтесь в терпении сею *надеждою*. Что это так бывает, оправдано опытами всех людей, искавших и содевавших спасение.

Так вот и все! Памятовать благоговейно о Боге, следовать совести и вооружаться терпением с *надеждою*. Это немного – семя всего. Благослови Вас, Господи, так настроиться и стоять в сем настроении»¹¹⁴.

Как это все важно! И действительно, у нас чаще всего устанавливается неправильное воззрение на себя, на Бога, на мир окружающий оттого, что уму всегда представляется, будто мы совсем одни, вокруг нас огромный холодный и чужой мир, а Бог где-то далеко-далеко, где-то за высоким небом, за едва видимыми звездами, где-то еще бесконечно дальше. Он, конечно, оттуда с высоты все видит, знает, но все-таки – издалека, свысока. Мы ищем «след» Его, «тень» Его в близком нам мире, чтобы как-то оживить в своем сердце память о Нем. Мы смотрим на иконы, на приближенный к нам Его образ, лик, писанный на доске красками из растертых камней, чтобы

собрать свои чувства в один луч, направить его куда-то далеко в неизмеримую даль, и нам представляется, что наша молитва должна лететь в эту бесконечную высь, где-то там долго стучать в наднебесную дверь у пренебесного жертвенника, чтобы быть услышанной. Но наше молитвенное обращение к святым скорее достигает своей цели, наши святые ходатаи, если мы расположим их заступиться за нас, возьмут наши прошения, пойдут с ними (опять же далеко-далеко, высоко-высоко) и там будут просить за нас...

Но ведь все это образы, которые только отдаленно рисуют нам тень реальности. Беда, когда мы саму реальность начнем путать с ее тенью. Как уныло, вяло, безрадостно такое настроение, тем более что молитва наша и без того не имеет горячности и дерзновения. И как меняется все, когда вспоминаешь, что Бог здесь же, рядом, совсем близко к тебе, ближе всех и всего. Он «вокруг» и «внутри» – и всюду! Он весь здесь же, сейчас же, во всей Своей полноте, в трех Лицах – Отец, Сын, Дух Святой! И Он не только слышит мою молитву сразу же, но даже прежде, чем я успеваю ее произнести, знает мою мысль прежде, чем я сам успеваю ее рассмотреть, облечь в слова. Он ближе к моей душе, чем я сам. Он видит меня лучше, чем мое внутреннее око, – видит насквозь; как я могу видеть сосуд из прозрачайшего стекла на ярком свете, так Он видит меня всего здесь же, сейчас же, в каждое мгновение моего бытия. Он весь здесь и всюду во всем Своем могуществе, славе и силе! И мы отдалены от Него не местом, не расстоянием, не временем, а лишь грубостью, дебелистью, омраченностью своего падшего состояния. Нам не дает видеть Его, Его славу и сияние чехол грубой, оземлянившейся, поработившейся праху душевности, словно мешок из плотной ткани, как смирительная рубашка, сброшенная на наше возгордившееся, вознесшееся «я».

Потому-то и надо не устремляться сердцем и умом за пределы видимого мира, в «далекую высь», чтобы там докричаться до Бога, но собирать их воедино, сосредоточивая в самой сердцевине нашей жизни, здесь смиренно звать и днем и ночью Того, Кто ближе всех и всего к нам, Кто душе

необходимее и вожаденнее всех и всего. Именно для этого взираем смиренно на иконы, чтобы, тут же потупив взор, искать Того, Кто промелькнул тенью, – вернее, блеснул светлым лучом сквозь писанный красками лик: искать Его через глубину своего сердца здесь же, в самой близкой к душе, касающейся ее области духа. Потому обращаемся к святым, просим их помощи, ходатайства, что здесь же – у души – те запертые двери, в которые надо стучать непрерывно, что здесь же надо присидеть запертым вратам в надежде, что *стучащему отворят*¹¹⁵ и ходатаи могут исходатайствовать скорейшее их отворение. Но все это здесь же, совсем близко от нашего сердца! *Царствие Божие внутри вас есть*¹¹⁶; *войди в клеть твою и затвори двери и помолись втайне*¹¹⁷; *и Мы приидем и обитель у него сотворим*¹¹⁸. Как все близко, как рядом, – кажется, только руку протяни и прикоснешься. Как это важно для оживления внутренней жизни – чувство вседеприсутствия Божия. Пожалуй, здесь ключ к внутренней жизни, здесь и дверь в нее.

Таинственное питье

На наши сомнения и страхования, мол, «жизнь в нашей обители духовно не налаживается, монастырь устраивается наружно, но внутренняя жизнь не начинается», говорят: терпите, лучшего и удобнейшего места для иноческой жизни все равно не найти!

Да, у нас большие удобства и даже многие преимущества перед другими обителями: мы живем, как «птицы Божии», мы свободны, ничем не обременены, можем сами определять образ монастырской жизни, по собственному рвению составлять ее распорядок, никто не вмешивается в это, не навязывает своих понятий и взглядов. Во многом наши условия напоминают ту независимую, свободную обстановку, в какой зарождались самые древние монашеские общины и которая теперь – редкость. Но монашество не «лепится» по собственному вкусу и настроению! Это не «композиция на свободную тему» (какие задавали нам когда-то на уроках живописи)! Это не вольная импровизация на струнах старинного музыкального инструмента, нечаянно оказавшегося в руках современного любителя изысканных переживаний!

Монашество – чудесный напиток, некое таинственное целебное питье, составленное по древнему рецепту, приготовленное святыми людьми, духом коснувшимися вечного. Это питье составлено не только человеческими мудростью, усилием, поиском, но под водительством, покровом благодатной силы Духа Божиего. Это особенный, сокровенный союз, заключенный возревновавшим о Боге человечеством и Самим Творцом, *любящим любящих* Его¹¹⁹, щедро одаряющим благодатью желающих приблизиться к Нему с любовью. Этот союз, это обетование, этот священный договор, подробно «оговоренный» с обеих сторон, невозможно составлять вновь, самочинно изобретая новые условия для сего сближения с Творцом. Это питье никто не может приготовить сам, и его можно только благоговейно почерпывать и пить, но брать его надо там, где оно уже есть, есть на самом деле, а не

мечтательно, у того, кто сам его почерпнул у прежних отцов. Не научиться монашеству только из книг, не найти его и в старом заброшенном монастыре, где только руины, намоленные стены, где все напоминает о тех, кто пил это питье, «пьянел» им, делался «буиим» для мира сего и, едва касаясь земли, все помышления сердечные имел горе. Один раз прикоснуться и вкусить ценнее, чем тысячу раз слышать и сто – видеть. Необходим урок, живое общение с истинными монахами, живая цепь; необходимо вплестись в нее, накрепко сомкнуться с последними звеньями, обвить их любовью, доверием, послушанием! Только тогда можно зажечь от древнего светильника и свою лампаду, засветиться тем же благодатным огнем. Самодеятельность здесь подобна чуждому огню, который Надав и Авиуд, сыны Аароновы, *принесли пред Господа, огню чуждому, который Он не велел им приносить: и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они*¹²⁰.

Монах по книжкам только красивая иллюстрация к этим книжкам, надуманная живописцем...

Афонские раздумья

Афон. Сентябрь 1993 г.

Вот уже две недели, как мы на святом Афоне! Но все еще не можем это сообразить и охватить чувством, где мы оказались. Живем сейчас в Ивероне¹²¹. К нам здесь относятся крайне доброжелательно и участливо. По временам бывает даже слишком как-то хорошо, так что боишься, ждешь чего-то неприятного (ведь мы уже привыкли, что вслед за хорошим всегда вскоре находит немалая скорбь). И теперь, конечно, бесы не дремлют и стараются омрачить, как только могут, наше мирное здесь пребывание, изнутри наводят разные сомнения и непонятную тоску, но, по милости Божией, пока не много успевают. Уже говорили с некоторыми опытными монахами на Святой Горе – с герондами, как здесь зовут духовников, игуменов, старцев, пытались объяснить им хоть несколько наши монастырские проблемы в Грузии, просили советов. Все как один говорят, что необходимо приехать на Афон на год-два поучиться, непосредственно, вплотную прикоснуться к древней монашеской культуре, здесь сохранившейся более, чем где бы то ни было.

Настроение у нас колеблется – то категорически не хочется уезжать отсюда домой, то вдруг поднимается какое-то уныние, скорее зависть к афонцам, чувство полного своего ничтожества и обреченности на самое жалкое прозябание. Все наше там, на родине, «монашество» видится таким жалким, уродливым, какой-то безжизненной пародией на монашество. Раньше нам казалось, что ничего возвышенно красивого в духовном отношении уже и быть не может в наше время, а тут вдруг видишь стройный хор, торжественно шествующий лик отцов, в единодушном строгом порядке с мужественными лицами, бравой походкой, бодрым шагом идущих к небу. А там мы как будто валяемся, точно с похмелья, бредим, бормочем что-то невнятное; так и не можем одолеть тот дурман, которым опьянил нас мир и продолжает пьянить. Тогда от этого унылого сознания обреченности на «жалкое прозябание» рождается безотчетное чувство раздражения и капризное, озлобленное

желание скорее уехать с Афона, ничего не видеть, не знать, завалиться опять в свою «берлогу» и, ничего не ведая, как-нибудь тихо-тихо «прозябать», влачить так или эдак свое убогое существование. Здесь мы ходим все «с поджатыми хвостами» – так «деревенщина», попавшая в первый раз в «красную» столицу, стыдится своей неуклюжести и неграмотности, но стесняется как-либо обнаружить это. Оттого много уделяем глупого внимания тому, как нас здесь принимают, как на нас смотрят, как к нам относятся. Если нам улыбаются, проявляют заботливость, настроение сразу поднимается; чуть только покажется, что смотрят косо, как уже и настроение портится, и хочется бежать отсюда. В общем, как больные капризные дети.

Многое – и очень многое! – здесь замечательно. Но пока видим только наружное: до внутренней, сокровенной жизни Афона так просто не доберешься. Также немало препятствует знакомству с монахами незнание греческого языка (по-английски здесь говорят весьма немногие). Монахи здесь совсем другие, совсем не такие, как те, кого довелось нам знать в наших краях. Можно сказать, что до сих пор нам были известны от мира монашеского только монашеские одежды и наименования: «послушник», «монах», «игумен», «архимандрит». Самих же послушников, монахов и игуменов мы пока не встречали. Еще одно странное чувство меня преследует здесь с самого начала: каждый раз, как вижу кого из афонитов, возникает навязчивое ощущение, что я его уже знаю и где-то видел. Хотя, когда вспоминаю, никого похожего не знал и никогда не встречал. Не понимаю, откуда идет это чувство близости, как будто мы давно знакомы и как будто где-то уже долго жили по соседству, много раз встречались.

Игумен монастыря Григориат отец Георгий сказал, что хорошо бы приехать нам на Афон осенью и побыть до лета (летом здесь бывает много посетителей, в связи с чем много неудобств для монашеской жизни). Другой монах советовал побыть год и больше. Старец Паисий¹²² говорил нам, что лучше пожить в обители малой, где меньше гостей и движения, в такой, как Ставроникита, Пантократор, Каракал или святого Павла. Еще отец Паисий говорил, что не надо унывать из-за

того, что монастыри неустроены и в целом в жизни народа Грузии такое неустройство, что на все надо время, постепенно все наладится. (Вообще, со стороны афонских старцев наблюдается большая участливость и сочувствие всему, что нас тревожит и подавляет.) Отец Василий, игумен Иверона, советовал то же самое и выделял монастырь Каракал.

Каждый день в полвосьмого вечера в небольшом храме в честь Иверской иконы служитя повечерие с Акафистом Божией Матери перед самой иконой Портаитиссы. Каждый день час, а то и два (когда литургия бывает в храме Иверской иконы) стоим буквально в двух шагах от святого образа Портаитиссы и слушаем прекрасное византийское пение. По многу раз в день кладем поклоны, прикладываемся к этой великой святыне. На окладе древняя грузинская надпись. Никто тут не знает нашего языка, и мы здесь как чужестранцы, а вот на главной святыне обители надписи, которые только мы и можем читать и понимать. В главном храме («кафоликоне») во время молитвы стоим недалеко от иконы трех ктиторов монастыря – святых иверийцев Иоанна, Георгия и Евфимия¹²³. Как это все удивительно и радостно! Какое-то чувство в сердце, что здесь Господь к нам особенно милостив и Мать Божия желает нас много утешить. А мы вправду нуждаемся в особом утешении, может быть, как никто теперь здесь, в этом счастливом, благодатном месте.

Сейчас мы в монастыре Филофей. Вчера были в Кутлумуше, перед тем два дня провели в Ставрониките. Заметно, что типикон, то есть распорядок жизни, в общежительных монастырях примерно одинаковый. Время здесь отсчитывается по-особому – «по-византийски»: закат солнца – это всегда 12 часов и конец суточного круга. Первый час после заката – это уже первый час ночи и так далее. Как будто странно, но ведь в наших типиконах именно такое же исчисление времени, и ни один уставщик у нас не сможет понять указания типиконов, если не будет считать время так же, как его отсчитывают здесь. Вообще, многое, что кажется «новым» на Афоне, при проверке оказывается точно таким же, как и в наших типиконах, только мы привыкли многое обходить

вниманием и не следовать точно их указаниям. Воистину, все для нас «новое» здесь – это просто забытое нами наше «старое».

Молитва в кафеоликоне начинается ночью, где-то в два-три часа по счету мирскому, а по-византийски это где-то семь-восемь часов ночи. Начинается ночная служба с полунощницы в притворе, затем служится с пением утрени в главном храме. Литургия же в простые дни совершается либо в одном из приделов кафеоликона, либо в одном из маленьких храмов, каких здесь в каждом монастыре очень много. В некоторых монастырях эти храмы стоят отдельно во дворе обители недалеко от центрального – так в Ивероне, в Ватопеде, в лавре святого Афанасия.

Кроме того, во всех обителях почти на каждом этаже корпусов, окружающих центральный двор с храмом, причем еще и на всех четырех сторонах, имеются маленькие церкви – как комнаты – одна над другой, так что получаются как бы башенки из церквей, встроенные в братский корпус, и только самая верхняя часть их увенчана небольшим возвышением крыши – куполом с крестом. Бывает, что литургия служится сразу в нескольких таких церковках – «параклисах», как их здесь зовут (если в монастыре несколько иеромонахов). Тогда после утрени в большом храме братия, разделившись на группы, расходятся по разным сторонам обители и в укромных параклисах тихо и благоговейно приобщаются святого Таинства Евхаристии. Есть какая-то особенная приятность в том, что литургия совершается ночью в крошечных церковках, к которым иной раз надо долго идти за провожатым по длинным лабиринтам в полумраке коридоров со свечой и потом вдруг прийти в маленький уютный красивый храм и молиться, удобно прячась в стасидии, в обществе немногих братьев в тихой и благоговейной обстановке. Это напоминает древние времена Церкви, когда христиане по ночам молились в темных катакомбах.

Еще не начало светать, а все уже намоленные, причастившиеся Святых Таин, до глубин сердечных напитанные хвалою Богу, славословием, святыми чувствами. Мир суетного человечества – «грешно-дольный» – еще только «протирает

глаза» спросонья, а мир святогорский уже идет на небольшой отдых после долгого горячего и плодотворного труда, возвращается по ночным монастырским коридорам в свои кельи, как воины с кровопролитного боя, неся драгоценные трофеи и венцы победителей.

В кельях братия начинают молитву задолго до начала ее в кафоликоне. Для этого назначенный монах («будильщик») проходит по братскому корпусу и, постукивая в каждую дверь, говорит молитву и призыв к бодрствованию – это где-то за три, за два часа до общей молитвы. Братия начинают свое келейное правило – в основном молятся Иисусовой молитвой по трехсотузелковым четкам. Четки эти такие длинные, что стелются по полу, и нет на них никаких разделительных больших узелков, а один сплошной ряд из трехсот шариков. Кроме того, у кисточек четок привязана маленькая ниточка с десятью бисеринками – черными стеклянным бусинками и с одной красной; как бы крошечные четочки на них отсчитывают каждый пройденный трехсотный круг, а красная бусинка – это один круг молитв к Богородице. Выходит, обычное правило насчитывает более трех тысяч молитв.

Однако надо заметить, что греки говорят Иисусову молитву кратко – из пяти слов, и звучит она на греческом очень лаконично, произносится легко и быстро: «Кирие-Иису-Христэ-элейсон-мэ». Вообще заметно, что греческий язык очень звучный и легко, ясно произносимый в связи с тем, что у греков гласные и согласные звуки четко чередуются. Если в соединении слов оказывается подряд два гласных, то один из них чаще всего выпадает, а два согласных или гласные внутри слова часто объединяются в один звук, несколько слов связываются за счет перестановки ударения. Благодаря этому слова читаются легко и звучат ясно. Поэтому, видимо, и выпевать их легко, и в пении слова хорошо слышны. Те же самые тропари или стихиры на грузинском языке произносятся в два раза дольше, и язык утруждается гораздо более. Греки ни за что не смогли бы выговорить некоторые грузинские слова, такие, как «мрцамс», «всткват», «вгрзноб», «вгзрдис» и тому подобные.

Иисусову молитву совершают вначале с глубокими земными поклонами, затем с поясными и с крестным знаменем. Замечу, что в храме монахи не любят особенно выказывать свою ревность: поклоны делаются как бы небрежно, быстро, неглубоко. Но в кельях не так. Мне не раз приходилось слышать, как над моей комнатой или по соседству кто-либо из братьев вслух произносил молитву и делал поклоны – медленно, очень основательно. Вообще очень часто слышится из-за стен, откуда-то издалека, молитва – и вечером, и ночью. Стоит только положить голову на подушку, как через цепочку твердых предметов – через пол, постель, даже через подушку, – как по телефону, доносится до слуха чья-то отдаленная молитва, так что мне всегда бывает здесь как-то стыдно за свое нерадение, стыдно засыпать, мягко погружаясь в перину подушки, когда через нее глухо слышится звучание чьей-то горячей беседы с Богом.

Поют на богослужении древневизантийским распевом – очень хорошо. Какой-то особый дух, настрой создается этим пением на молитве: и смиренный, и кроткий, и вдумчивый, и в то же время величественный, торжественный. Замечательно, что голоса у братьев мужественные, естественные и простые, как будто отцы поют не горлом, а самой душой – откуда-то из глубины сердца, без всякого напряжения, вовсе не заботясь о красоте голоса, а только выпевая исповедание и хвалу. Пение несет настрой самой здешней жизни, непритворной, серьезной, строгой и самоотреченной. Сами мелодии очень странные, непривычные нашему слуху, как будто, на первый взгляд, не вполне гармоничные и какие-то «неожиданные».

Наша манера петь иная: все мелодии, какие-то ясно читающиеся, какие-то очень понятные и знакомые сердцу, несут в себе почти однозначное настроение, все их можно довольно просто разложить по тем чувствам, которые они вызывают. Одни ясно радостные, другие нарочито грустные или сладостно-печальные. Когда слушаешь эту мелодию, уже слухом угадываешь, куда она клонится и как продолжится. А здесь мелодия едва угадывается и, видимо, занимает не главное место: она лишь некая форма, лишь слабый контур, внутри

которого скрывается вся глубина самых таинственных переживаний. И вот по временам ждешь и здесь, по привычке, ясно читаемой мелодии, как будто отслеживаешь ее и ожидаешь понятного и приятного для слуха ее продолжения, но пение вдруг принимает совсем неожиданное направление, приносит все новые и непонятные всплески настроения. Видно, мы привыкли к пению душевному, улаждающему слух, как и в самой нашей «духовной» жизни мы теперь чаще всего ищем надуманных, искусственных, упрощенных, душевных переживаний.

А ведь все истинно духовное так богато, состоит из столь многих оттенков глубочайших переживаний, чувств; вместе с тем так цельно и исключительно просто, что все это никак невозможно просчитать душевным рассудком, надумать, искусственно вылепить («сочинить», как говорят композиторы). Истинно духовное пение может изливаться только из сердец, опытно ощутивших прикосновение Духа, непосредственно познавших эти тончайшие и неизъяснимые словом переживания.

Точно так ведь и в истинно православной иконописи. Здесь ведь тоже иные законы красоты. Чтобы научиться понимать икону, нужен немалый опыт, человек должен основательно перестроить свои понятия и свое мирозерцание. Как часто фигура, руки, лик, складки одежды, горы, дома, деревья написаны на иконе совсем неожиданным образом, и как часто те, кто плохо знаком с иконописью, недоумевают: «Почему все написано так странно, как будто художник специально отошел от обычных представлений о красоте и заговорил на языке, на котором не говорит ничто из видимого нами вокруг?». Кажется, все, что написано на иконе, мы узнаем, – все эти очертания и контуры отчасти знакомы, но они как-то странно изменены, несут какие-то чувства «не от мира сего»...

Говорят: «Разве нельзя было бы все это написать красиво, правильно, как в жизни?». И действительно, в поздние века стали писать вместо икон картины, где лики святых выписывались с дотошным натурализмом, где всегда старались выделить телесную (именно – плотскую, вещественную)

красоту, подчеркивая объемы, мягкость и плавность телесных форм, фактуру материи, изящность складок одежды. Но молиться перед такими картинами невозможно: они целиком земные, их можно только рассматривать, как иллюстрации, в них нет никакой тайны, для чувства не остается никакой двери в иной мир – мир духовный.

Так же отличается церковная молитва от «духовного стихотворения», в котором кто-то описывает свои молитвенные чувства. Молитва не украшает, не выделяет сами чувства молящегося – она только дает форму, как бы намечает «коридор» или подводит молящегося к лестнице, по которой он сам должен восходить со своими чувствами, молитва только призывает эти чувства ожить и устремиться к небу. Поэтическое описание кем-либо своих молитвенных чувств заставляет нас любоваться этим «молящимся поэтом», восхищаться его «тонкими переживаниями», так что мы порой вообще забываем в этот момент о Боге и о своей душе. Так же и с духовным и душевным пением: душевное пение как бы представляет нам чувства и переживания поющих, и мы должны залюбоваться глубиной этих переживаний, их внутренними переливами, игрой «красивых», «ищущих Бога душ». Здесь происходит то же, что в театре, когда зритель или слушатель следит за всплесками эмоций, за наигранными переживаниями актера и проникается сочувствием к исполнителю роли настолько, что сам начинает сопереживать ему, вместе с ним плачет или радуется.

Но никто не становится лучше после таких «переживаний»! Почему? Да потому, что они возникали и двигались лишь на поверхности чувств, только на «кончиках нервов», не затрагивали самую глубину сердечную. Глубину сердечную затрагивает лишь истинное покаяние, только тогда и происходит глубинное изменение сердца. Ведь и само слово «покаяние», по-гречески «метанойя», значит не что иное, как «изменение». Но, чтобы произошло это «изменение», надо, чтобы слово Божие, которое *острее всякого меча обоюдоострого*, проникло до *разделения души и духа, составов и мозгов*, ибо оно *судит помышления и намерения сердечные*¹²⁴. Человек должен остаться один на один с Богом, с Его словом: духовное пение

доносит до нашего духовного слуха это святое слово, и оно уже само производит свое благодатное непостижимое действие.

Совсем другое, когда пение пытается изобразить, как кто-то уже «глубоко переживает» это слово и *тает, яко воск от лица огня*¹²⁵, от его прикосновения. Здесь фальшь, актерская игра, игра в покаяние, в глубокие чувства. Здесь святые слова как бы обмазаны «сладким кремом» – наигранными переживаниями певцов и сочинителей этой музыки; здесь эта приторная искусственная сладость не дает молящемуся ощутить целебную сладость врачующего душу слова Божия. Люди со временем потеряли вкус истинно духовного (как говорилось, это особенно заметно в иконописи: последние века вовсе не знали икону и подменили ее красивыми картинками, сильно мешающими молиться). Так случилось и в пении: все мелодии, сочиненные в позднее время, а также манера петь, сложившаяся в поздний период, почти целиком душевны и строятся на искусственно украшенной манере, растепляющей поверхностные чувства, «щиплющей кончики нервов». Этим самым они мешают молящемуся, желающему войти в глубины сердца, чтобы там сокровенно предстоять Отцу Небесному, *Который втайне*¹²⁶.

Кстати, вспоминаю почти дословно некоторые высказывания святого епископа Игнатия по этому поводу: «Весьма справедливо святые отцы называют наши духовные ощущения «радостопечалием». Это чувство вполне выражается знаменным распевом, который еще сохранился в некоторых монастырях и который употребляется в единоверческих церквях. Знаменный напев подобен старинной иконе. От внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от пристального зренья на старинную икону, написанную каким-либо святым мужем. Чувство глубокого благочестия, которым проникнут распев, приводит душу к благоговению и умилению. Недостаток искусства очевиден, но он исчезает перед духовным достоинством. Христианин, проводящий жизнь в страданиях, борющийся непрестанно с различными трудностями жизни, услыша знаменный распев, тотчас находит в нем гармонию со своим душевным состоянием. Этой гармонии он уже не находит в нынешнем пении Православной Церкви»¹²⁷.

Знаменный распев, сохранившийся в России, очень близок по своему строю и принципу к византийскому пению на Афоне. Видимо, слова епископа Игнатия могут быть точно так же отнесены, с одной стороны, к афонскому пению и, с другой – к манере петь в наших храмах сегодня.

Слушая афонское пение, чувствуешь огромную таинственную глубину, видишь перед собой начало возвышенного и красивейшего мира молитвы, как бы море плещущееся, искрящееся в лучах солнца, увлекающее тебя отправиться в далекое плавание. Но плыть, подставлять паруса ветру, а нередко и усиленно грести должен ты сам. Пение не навязывает тебе никаких чувств, предлагаются только контуры, как бы чистые сосуды, которые ты должен наполнить сам своими сердечными чувствами и излияниями души. Каждому предлагается как бы отдельная ладья с веслами – садись, греби, поспевай за другими мореплавателями, стройными рядами плывущими к далекой счастливой стране.

Видно, что в душевном пении человек ищет не действительного продвижения в реальный мир духовного, а скорее, создает свой искусственный мир из уже знакомых душе поверхностных чувств и настроений, которые задевают страстные глубины, производят в сердце некоторое пьянящее тепло, действуют на душу словно какой-то наркотик. Только соприкосновение с истинно духовным открывает со временем, какая дешевая подделка все эти наши «самоделанные» переживания. Так человек, который никогда не пил настоящего виноградного вина (изготовленного без прибавления воды и сахара), но пробовал только фабричные вина (которые никогда – при самой дорогой цене и громкой рекламе – не бывают в самом деле винами), иной раз с важным видом дегустирует эти сфабрикованные напитки, делает замечания о качественности или негодности того или иного содержимого, но даже и не подозревает, каков вкус вина настоящего. Но когда испробует вино чистейшее, сам потом улыбнется, услышав, как кто-то расхваливает какой-либо сорт фабричного вина. Но бывает и так, что знающий лишь вкус подкрашенных, подслащенных

напитков еще и презрительно поморщится, отведав самого настоящего гроздного пития. Жертва продолжительного обмана!

Однако интересное наблюдение можно сделать и на самом Афоне: здесь монахи, поющие на клиросах, зачастую предлагают гостям, знающим пение (а здесь умеют петь, и вполне профессионально, многие миряне: они даже хорошо знают типикон), пропеть одну-другую стихирю антифонно с афонцами. И вот кто-либо из гостей деловито подойдет к аналою, откроет богослужебный текст, найдет и нужный стих, и стихирю, на очередной глас пропоет все «чин по чину», иной раз виртуознее самих святогорцев. (Несколько раз при мне в Ксиропотамском монастыре пел на клиросе даже местный полицейский, служащий по соседству в Дафни; так в форме и становился на клирос и пел очень неплохо.)

Однако какой контраст замечается между пением монахов и мирян – небо и земля! Миряне поют все правильно, на тот же распев, но заметно напрягаются, вытягивают губы, стараются «смаковать» каждый звук, придать приятность и сладость каждой ноте. Мне даже становилось как-то стыдно и неудобно за этот их артистизм. И сколько раз случалось слышать здесь мирян, столько раз сразу же обращала на себя внимание эта искусственность. Сами же они этого, конечно, не замечали. Отсюда видно, что не в самом только «византийском пении» дело, но в том, что Афон живет духовной жизнью, и сама жизнь эта кладет свой отпечаток на пение и чтение в храме. Соответственно, Святая Гора влияет на весь греческий народ; и своей религиозностью, знанием древней культуры христианства мир Греции обязан во многом именно афонцам.

И вот литургия окончилась, потом сразу же братская трапеза с чтением поучений или житий святых отцов, и расходимся по кельям для двухчасового отдыха. Небо еще в звездах, рассвет только-только подступает к горизонту; тишина кругом, лишь тусклый свет едва виден в окнах братских келий, да сквозь цветные стекла храма светятся огоньки лампад. И так странно думать: ночь; все, кажется, спит в монастыре; никого уже не видно, как будто ничего и не было; и только луна и звезды, свидетели ночные, знают, какие здесь происходили

события под покровом ночи. Если бы посмотреть на Святую Гору с высоты птичьего полета, понаблюдать, что будет здесь в полуночный час: вдруг всюду – по всей горе, на вершинах, в ущельях, в чащах лесных, на скалах, висящих над пропастями, как птичьи гнезда, в башнях на самом берегу моря, а иногда стоящих в самой воде морской, – в глубокой ночи раздается боевая дробь в деревянные била, то там, то здесь мелькают звездочками огоньки, словно небо отразилось, побежало, сошло на землю, промелькнули тени – темные, укутанные с головой в черное люди; все поспешают в храмы Божии. И вот вдруг потянулось пение – полились к духовному небу струйки голосов, из самых душ теплые ручейки молитвенных переживаний сливаются в широкий поток, в обильную реку, текут, смешиваясь с ароматом ладана, «в воню благоухания духовного» к «пренебесному жертвеннику»¹²⁸; низводит река эта на землю живую воду¹²⁹, «возниспосылает» Господь в мир сей благодать Пресвятаго Своего Духа, умоленный ночными этими тружениками. Весь Афон и стоит этой ночной жизнью своей: «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща»...¹³⁰

Понравился очень Ставроникита – весь опрятный, ухоженный, маленький и уютный. Море делает его особенно красивым. Очень нравилось стоять на балконе – прямо над морской пучиной – и смотреть вдаль: отсюда и красивейший вид на Афонскую вершину, и особенно на водный простор с синеющими вдали островами. Гостей здесь мало и как-то очень тихо и покойно. Братья такие тихие, кроткие, служат очень благоговейно. Кутлумуш активно строится, и много шуму от работы и от рабочих. И народу было много. Внешне все еще недостроено, но служба тоже очень хорошая, настоятель приятный и простой. Только познакомиться близко ни с кем не удалось. Языка не знаем – приходится больше молчать. Это очень тягостно, потому что хочется пообщаться с отцами поближе, так о многом жаждется рассказать, так о многом спросить, о многом «поплакаться».

Вот мы опять в Ивероне. Вчера провели день и ночь в удивительном месте – в одной келье, точнее небольшом скиту,

где подвизается восемнадцать человек братии: греки называют его Буразери, от русского названия – «Белозерка», так как раньше скит был русский. Еще остались в трапезной фрески русского письма (стиль поздний, далекий от иконописного). На Афоне «скитом» называют иногда даже очень большие монастыри, просто не имеющие здесь таких прав, какими обладают двадцать афонских обителей, между которыми и поделена вся святогорская земля. Скиты во многом зависимы от этих монастырей (но на внутреннюю жизнь это не влияет). В «Белозерке» все очень упорядоченно, чинно, в высшей мере аккуратно, строго и налажено – и наружно, и внутренне. Здесь пишут иконы; руководит иконописцами отец Арсений, известный более других иконописцев как на самом Афоне, так и вообще в Греции. Игумен – очень мудрый человек, уже в преклонных годах, – как видно, с большим опытом, очень живой и бодрый. Один монах хорошо знал русский язык, и удалось через него о многом расспросить, а главное, подробно переговорить с игуменом.

Еще прежде этого в русском Пантелеимоновом монастыре довелось достаточно обстоятельно побеседовать с духовником, так что набралось кое-что из полезных советов – очень серьезное.

Здесь все советуют служить литургию почаще: это будет давать силу и настоятелю, и братии. Советуют причащать братий часто – до четырех раз в седмицу, лучше в воскресенье, субботу, вторник и четверг (то есть дни, следующие после дней постных), и в праздники. Советуют также служить полностью суточный круг служб и, как здесь принято, читать повечерие с Акафистом Божией Матери. Советуют много внимания уделять Иисусовой молитве. В «Белозерке» игумен советовал во время работы (общей), когда это возможно, дабы избежать празднословия, братиям по очереди вслух читать Иисусову молитву, начиная со старшего и по порядку старшинства, количество соизмеряя с продолжительностью работ. Также отметил важность того, чтобы весь день у монахов был плотно заполнен делами и молитвой, чтобы не оставалось праздного времени. В этом скиту братиям запрещается заходить друг к

другу в кельи для беседы, если же есть необходимость что-либо сообщить брату, то нужно позвать его выйти из кельи и так побеседовать. (Как потом узнали, и в других многих монастырях такое же правило, и есть даже специальные комнаты на этажах, куда с этой целью можно входить для необходимой беседы.) Очень важно, говорил игумен, вовремя отправлять из обители людей, негодных для монашеской жизни, а при приеме тщательно опрашивать и сразу же давать новопришедшему четкие правила и обязанности. Душевнобольных никак нельзя принимать в монастырь! Из-за этого бывает много скорбей и даже несчастий. Всякое малое по виду психическое расстройство со временем может вырасти в тяжелую духовную болезнь, и от этого будет страдать весь монастырь. Усиленно советовал держаться подальше от мирских людей, так как они очень расслабляют атмосферу монастыря. Особенно – остерегаться женщин и не иметь отношений с родственниками.

Многое еще говорил этот гЕронда: в общем, это все то же учение, которое находим у древних отцов, в патериках и житиях, в наставлениях и правилах, – как раз то, что мы хорошо знаем, но отвергли, презрели, посчитали отжившим, уже неважным. Но сила и значение слов игумена современного скита на Афоне заключаются для нас не в том, что мы узнали нечто новое, а в том, что их говорил человек, который все это исполняет и на опыте познает пользу сего. Поэтому все эти советы звучали как впервые услышанные и сильно трогали душу. Не знаю, что из слышанного мы можем привить и насадить у себя на родине, в наших только что воскресающих из руин крохотных обителях, но ясно, что трудиться надо и немало возможностей для преуспевания открыто и нашему времени.

Много говорят отцы также о необходимости строгого послушания и частого откровения помыслов. Все это опять точно согласно с учением древних отцов монашества, но говорится из собственного опыта и знания, выверенного самой жизнью. После этой беседы мы испытывали и благоговейный страх, и даже трепет перед серьезностью, ответственностью, важностью всего, что несет в себе монашество, и от того легкомыслия, с которым мы сами и многие знакомые нам

монахи смотрим сегодня на иноческое делание. Ясно обличился дух нерадения и уныния, которым болеют многие наши собратия по иночеству, дух, глубоко внедрившийся в наши сердца. Но, оказалось, есть еще в этом мире серьезные монахи, есть еще школа трезвенности и смирения, есть еще люди, для которых писания отцов не просто любопытная древность, а самое живое и насущное руководство к деятельной жизни. Вообще-то, и не надо думать найти здесь или услышать что-либо новое и нам неизвестное; не в том суть дела, чтобы услышать наконец какой-то «мудреный совет», который в нескольких словах содержит в себе ключ к духовной жизни, поехать домой, начать так делать – и все потечет «как по маслу». Ничего «нового» мы здесь не узнали, и это-то как раз и говорит, что Афон живет, молится и остается верным Богу. Как раз тот, кто по Богу не живет, но лишь говорит о жизни по Богу, – тот любит находить все новые и новые тонкие мысли, изящные формулировки, неожиданную точку зрения. Это от современных кабинетных «богословов» можно каждый день слышать новые «умозаключения» и буквально сногшибательные заявления. Афонские отцы как будто «застыли на месте», отстали от века сего, от мира сего, остались где-то в другом времени, в духовной атмосфере древних поколений отцов. Когда поживешь здесь немного, то как будто узнаешь то, о чем читал у аввы Дорофея, у Иоанна Лествичника, у Василия Великого и Феодора Студита, в патериках и житиях, словно Афон – живая иллюстрация ко всему читанному в святых книгах, о чем раньше только мечталось и что представлялось в уме.

Вот заканчивается месячный срок нашего пребывания на Святой Горе. Мы успели обойти всю Афонскую гору, побывали в шестнадцати монастырях, в некоторых скитах, многое увидели, многое узнали! Но «узнали» в смысле «вспомнили», как узнают что-то знакомое душе, много раз прикасавшееся к сердцу, но почему-то удаленное, недоступное. И вот теперь «узнали» – увидели то, о чем раньше просто «знали», что оно бывает и весьма хорошо... Вот мы опять в Ивероне, откуда и начиналось это наше месячное путешествие. Как не хочется уезжать отсюда! Здесь точно небо на земле: то ли небо низко

приклоняется к земле, то ли земля высоко тянется к небу, но чувствуется это таинственное благодатное соприкосновение. Здесь самое счастливое место на земле! Как странно: посмотришь на карту мира – как он велик, сколько прекраснейших земель, огромные зеленые материки, горы, реки, моря! – и едва найдешь на ней Средиземное море и в нем крошечный полуостров с тремя вытянутыми «рожками» – узкими горными полуостровками, вдающимися в Эгейское море, и вот только на одном из трех, на крошечном участке земли – святой Божий мир, «удел Богородицы», или «сад Богородицы». И только здесь царят законы духовные, возвышенные; только здесь сама жизнь, обычаи, архитектура, сам вид людей – все подчинено, направлено так, что соответствует главному в человеке, то есть его духу, насущным потребностям, его «вожделениям».

В то же время огромный мир, лежащий по другую сторону моря, весь исполнен законов, правил, форм, обычаев, дел, слов, отражающих лишь вожделения плоти, позывы одевшейся души. Там все только прикрывается образом человеческим, а по сути – только «скотство», «зверство»; много произносится будто бы членораздельных слов и даже, кажется, имеющих какой-то смысл речей, но это лишь «мычание и блеяние бессловесных» – неразумных страстей и бессмысленных пожеланий. Да, и в этом мире редко-редко встретишь вдруг одного-другого раба Божия, а иной раз и небольшой монастырь, но все это крошечные лодочки, заливаемые волнами, наветуемые ветрами и разными напастями: гребцы на них всегда в страхе, всегда в боязни неприятной неожиданности, они здесь совсем чужие, такие одинокие, удрученные со всех сторон... И как с Афона, когда смотришь на море, кажется ужасен, отвратителен, безумен, бессмыслен, глуп до крайности тот мир, что там, за морем; сам он весь такое же колеблющееся море, «житейское море», кипучее, пенистое, таящее в себе *гади, им же несть числа, животная малая с великими*, там же *змий сей, ругающийся ему*¹³¹ и – в шутку и не в шутку – забавляющийся погибелью человеческой, мутящий это «море», превращающий весь род

человеческий в сумасбродную, беснующуюся толпу. И вот, покидая Афон, надо сесть на корабль и уплыть в это «море»...

А Святая Гора останется в памяти как чудесный, спасительный островок счастья – единственное «сухое» место, «ковчег Ноев» среди великого греховного потопа, среди глубочайших бездн порока, блуда, злобы, гордости, пьянства, безумия, отчаяния и сатанинского хохота, среди всей этой влажной, холодной пучины погибающего мира. И отплываем в эту пучину, чтобы опять в страхе, в одиночестве грести, править где-то вдали утлую ладью под пронизывающими порывами ветра – и все ради надежды быть в том мире, о котором Святая Гора только что живо нам благовествовала.

Святой Афон. 1994 г.

Вот мы снова на Святой Горе. Прошлый раз, год назад, мы уезжали отсюда с сильным желанием вернуться опять и уже на больший срок. Ведь мы спрашивали здешних отцов, и они советовали пожить на Афоне год-два и так поучиться монашеству. И вот мы просили нашего Святейшего Патриарха позволить нам поехать на Святую Гору с этой целью, просили также исходатайствовать у Патриарха Константинопольского необходимое разрешение. И вот, получено благословение от нашего Патриарха, пришло письмо от Патриарха Вселенского, не только позволяющее нам пожить два года на Святой Горе, но еще и с обращением к Протату¹³² афонскому и к отцам – помочь нам удовлетворить наше желание поучиться на Афоне. В общем, достигнуто то, о чем даже невозможно было мечтать! К тому же, в прошлое наше посещение Афона мы близко познакомились с герондой монастыря Ксиропотам. Он к тому времени только что вернулся из Грузии (куда приезжал на короткий срок, желая поближе узнать нашу страну, посмотреть наши древнейшие храмы и монастыри, поклониться великим святыням, хранимым в Иверской земле, познакомиться с нашими христианами). Это тоже повлияло на наше сближение, к тому же во многом мы оказались единомысленны, и на основные вопросы, волновавшие нас, геронда смотрел так же. После нескольких теплых бесед он обещал нам помощь в том случае, если мы сможем приехать на Афон, и даже согласился принять нас под свое покровительство. И вот открылась нам ровная и удобная дорога, дабы отправиться в «земной рай», в «удел Божией Матери», в «надежный стан» крепких, верных воинов Христовых.

Но за этот год произошло много изменений у нас в обители: под впечатлением виденного и слышанного нами на Святой Горе удалось кое-что изменить в нашем общежитии. За это время сложился у нас хороший типикон, взбодрилась братия, наладились несколько взаимоотношения друг с другом. В общем, маленькое семя, привезенное со Святой Горы,

посеянное в земле нашей, как будто подало признаки жизни и пускает молодой росток. Может быть, это только самообман и привито лишь внешнее благочиние, а внутренняя жизнь так и останется нам непонятной и недоступной? Но в самый последний момент, когда получены письма из Константинополя и открывается широкая дверь на прекрасный Афон, так вдруг стало больно покидать братию, нашу маленькую, начавшую было устраиваться обитель... К тому же многие отговаривают нас оставлять монастырь, с искренним сожалением узнают, что мы уезжаем, оставляем Бетанию. Я был уже у Патриарха, уже передавал монастырь... но не смог это понести и через день просил Святейшего позволить мне побыть на Афоне только месяц и вернуться опять в свою обитель. Наш же иеродиакон, с которым мы и собирались ехать, должен был (так мы сообща решили) воспользоваться этой счастливой возможностью и остаться на Святой Горе сколько Бог благословит.

И вот мы опять на Святой Горе! Брат мой здесь остается и уже вживается во внутренний быт монастыря, уже несет послушания и получил келейное правило. А я просто гость, наблюдатель, высматриваю все то, что может нам пригодиться в Грузии. Но сердце рвется, соблазн остаться здесь велик: внутренне понимаю, что ничего из монашеской жизни нельзя просто увидеть, запомнить, перенести и приложить в другом месте, если это не войдет в самое твое сердце, не будет выстрадано, не станет твоим вполне. То, что берется от наружного наблюдения, легко лепится, как какое-то гипсовое украшение к зданию, но так же скоро и легко отпадает, раскалывается на куски. То, что вошло в самую кровь, что изменило самое сердце, – даже если его не навязывать другим, не выказывать, даже скрываемое и утаиваемое, – все-таки не может утаиться и выявляет себя, отражается в окружающем... Но решение принято и надо идти по той дороге, которая выбрана. Мне тоже дают здесь послушания – в церкви, в трапезной. Изучаю понемногу греческий язык, даже читаю в храме на богослужении некоторые молитвы по-гречески, участвую в службе в алтаре (по воскресным дням и в праздники). Многое удастся замечать, но в основном во

внешнем чине и образе взаимоотношений; внутреннее делание монахов остается недостижимым. Чтобы узнать их духовную жизнь, надо столкнуться с монахами гораздо ближе, надо хорошо знать язык, надо жить здесь и самому стараться войти в эти духовные тайники, в эти «внутренние покои»: в них-то и живут эти блаженные души, которые, собственно, и есть «обитатели афонские», а не те, что можно видеть глазами.

Беседовал с герондой монастыря. Сначала разговор шел об общем положении монашества. Отец говорил, что диавол больше всего старается навредить, конечно же, монахам, их обезоружить, над ними посмеяться, потом уже берется за мирских людей. Главная цель у него – монашество, потому и такая борьба у нас сегодня. Конкретно: говорил, что к уединенной и самостоятельной жизни монах может прийти только через киновию. Советовал в отношении монастыря: не всех одинаково воспитывать, не ко всем применять одни приемы, а избирать одного-двоих таких, которые более послушны, доверчивы, действительно ищут Бога, близко принимают к сердцу слова наставника, – вот с ними и начинать особенно старательно работать. Важно привить им обычай часто и искренне открывать все свои помыслы. Раньше в монастырях Афона был даже такой обычай: каждый день после повечерия геронда или духовник монастыря по выходе из храма во внешний притвор (это вытянутая вдоль западной стены храма застекленная галерея со скамьями вдоль стен, чаще всего расписанная сюжетами из Апокалипсиса) садился у дверей, на специальном седалище (такие каменные седалища и сейчас есть у входных дверей), и братия по очереди, выходя из церкви, прежде чем отправиться в свою келью, подходили к старцу и исповедовали свои помыслы и прегрешения, получали тут же совет, разрешение всех своих недоумений и правило на ночь. Братия выходили по одному, по порядку старшинства, минут по пять – десять беседовали с духовником, говорили не только о том, что тяготило душу, но и что навязывалось на мысль, часто являлось в сознании, даже если оно не казалось предосудительным. Хорошо, чтобы открывали и те мысли, которые особенно часто приходили на молитве. (Ведь на

молитве более докучают те помыслы, которые связаны с главными болезнями и страстными наклонностями души. Против молитвы восстают именно наши страстные, греховные глубины, то, что молитва берedit, гонит, поpaляет.)

Надо, чтобы братия, как только они приходят в монастырь, были сразу же настраиваемы игуменом серьезно и категорично порывать с миром. Все их взаимоотношения с тем, что осталось позади, за порогом монастыря, нужно контролировать: они не должны писать писем своим знакомым и родственникам без ведома и благословения настоятеля. Если же он благословит писать, то перед отправкой нужно дать ему письмо для прочтения. Получаемые письма сначала должен просмотреть игумен, и если в них нет ничего душевредного или бесполезного, такого, что может подать повод к какой-либо брани, то тогда только отдать адресату. Все это не из-за «казарменной» строгости, а ради помощи, ради ограждения монашеской жизни, ради спасения души, охранения ее от стрел лукавого, которые особенно опасны для новоначального.

Братия не должны беседовать с гостями обители, если на это нет специального благословения, – это также очень важно! От нарушения этого правила бывают большие искушения. Если братия будут входить в дружбу с гостями, то те скоро же начнут прибегать к ним за советом или исповедовать свои грехи, рассказывать свои проблемы – и духовные, и житейские, и так далее. Таким образом, новоначальный сразу же превращается из ученика в учителя, из послушника в духовника. Мало того, что он услышит совсем бесполезные вещи, вспомнит мир, но, может быть, даже разгорится сочувствием к чужой страсти; к тому же, если он даст один, другой совет, это ему может понравиться, и он уже начнет мечтать о себе как о духовном наставнике и руководителе. С этого момента он станет нетерпелив в послушании, начнет тайно надмеваться и стремиться к священству или духовничеству. (Надо заметить, что на Афоне на духовничество смотрят совсем не так, как у нас. Здесь далеко не каждый иеромонах имеет право принимать исповедь у братии и у мирян. Только опытным, имеющим многолетний «стаж», показавшим рассудительность, духовную

мудрость священникам благословляется, по прочтении над ними специальных молитв епископом, исповедовать братию.) Неопытный, «самозванный духовник» сам заболевает всеми теми болезнями, которыми болеют исповедующиеся и которые он пытается лечить своим самосмышленным словом.

Между собой братия также должны говорить как можно меньше и только о делах монастырских, о необходимом и важном для них. Ни в коем случае братия не должны рассказывать друг другу свою прошлую жизнь. Чтобы облегчить такое их воздержание в слове и необщительность, хорошо проводить раз в день общее собеседование, когда собираются вместе все братия и настоятель, чтобы поговорить о разных делах монастырских, вообще о некоторых вопросах жизненных. Можно повести разговор полегче, немного даже пошутить, но все это с игуменом, чтобы он, поддерживая течение беседы, использовал ее для назидания и поучения. После чая или в другой момент можно что-то зачитать братиям или дать разъяснение по наболевшей теме. Нельзя позволять, чтобы братия что-либо давали друг другу или брали без благословения игумена. То же самое – и в отношении гостей. Вообще все, что находится в монастыре, не есть имущество личное, и никакая вещь здесь не принадлежит целиком кому-либо одному из братии. Не должно и заносить в келью вещь, в которой нет необходимости.

Нужно иметь в виду, что тот брат, который изберет путь строгого послушания и искреннего доверия настоятелю, будет, возможно, подвергаться насмешкам со стороны других, но он не должен на это обращать внимание и из-за этого ослаблять свое самоотречение. Конечно же, это действует враг, внушая невнимательным к себе неправильный взгляд на угодное Богу. Необходимо сразу же давать братиям – каждому свое – определенное келейное правило с поклонами и Иисусовой молитвой и внимательно проверять, как оно выполняется, и сообразно с этим поправлять, то есть либо расширять, либо сокращать, либо заменять некоторые молитвы или способы их произнесения. Без благословения игумена братия не должны

вкушать пищу: все должно быть обговорено с духовником, сколько, что и когда можно вкушать.

Новопришедшему брату с самого начала надо говорить, что в монастыре его ждут немалые трудности, что это крест нелегкий, что он сюда пришел серьезно потрудиться, а вовсе не отдыхать от передряг житейских, пришел ради кровопролитной битвы, а не спрятался от браней, которые терпят в миру, что здесь «фронт», а не «тыл». Если он будет замечать, что не все братия делают все хорошо и правильно, то это его не должно смущать: так и на войне – не все герои, не все равно смелы и самоотверженны, но надо смотреть не на них, а на воюющего против нас врага, против него напрягать всю силу, всю ловкость, всю ревность. Надо не столько смотреть, что делают братия, сколько стараться в точности исполнить то, что наказывает духовник. Хорошо для послушника составить подробное расписание всего, что и когда он должен делать, по часам, но каждому давать свое расписание.

Однако в небольшом монастыре дать четкие указания всем братиям на все случаи невозможно: здесь ситуация часто меняется, обстоятельства требуют каждый раз новых поправок, иногда значительных. Впрочем, настоятель может свободно изменять что-либо в распорядке жизни, приноравливаясь к обстоятельствам: братия должны знать и помнить, что это в правах игумена, не роптать, не скорбеть, что что-то изменилось и делается не так, как всегда: «не человек для правила, но правило для человека».

Давая каждому конкретные послушания, настоятель должен проверять, как тот выполняет свое дело. Если дело идет исправно, иногда бывает полезно похвалить подвижащегося, подбодрить его словом, но тут же для смирения что-то немного и поправить. Или, когда все сделано хорошо и исправно, можно сказать: «Вот если бы ты лучше молился, сделал бы это еще лучше». Одной строгостью здесь ничего не добьешься, так же как поспешностью и требовательностью, но только терпением, постепенным воспитанием, вниманием и заботливостью. Сначала необходимо хорошо воспитать, взрастить несколько братий, чтобы укрепился как бы здоровый росток, способный

цвести, наливаться соком, давать сладкие плоды, затем уже эту ветвь осторожно прививать к братскому дереву, отсекая при необходимости все больное и бесплодное. Так постепенно можно вырастить доброе, полезное, плодоносное дерево. Но, однако, если кто-либо из братьев во всем советуется, часто подходит к игумену для беседы, являет доверие, его не следует из-за этого выделять или как-то выказывать ему предпочтение перед другими, но наружно показывать равное расположение и даже чаще смирять при других. Это будет уравнивать то особое внимание и доверие, которое игумен проявляет в отношении его, давать случай проверить искренность его послушания и, кроме того, давать братьям пример терпения и кротости. Если же кто-либо из братьев не доверяется и не может раскрыться в отношении духовного наставника, то надо делать вид, что этого не замечаешь, молиться за него и ждать, пока Господь расположит его сердце к откровению.

Многое еще говорил геронда, но всего я не упомянул и, главное, не увидел нового: понятно основное, что наставники здесь ни в чем не отступают от опыта древних отцов, пользуются теми же приемами воспитания и охранения душ доверенных им чад, о которых можно узнать из «Добротолюбия», из патериков, монашеских правил всех времен. Но все это обновилось в памяти и ожило, когда слушал этого наставника.

...Вот опять беседовал с отцом N. На этот раз он предостерегал от опасности впасть братьям в прелесть и самомнение. Это случается часто, когда послушник старается настоять на своем, часто предлагает сделать что-то иначе, нежели ему говорят, в каждое благословение пытается вставить свои «поправки», – это уже недобрый признак. Если даже он предлагает хорошее и как будто полезное, но свое, – беда! Из него скорее всего не будет толку. И не надо смотреть на то, что он хорошо работает или подвизается, – это даже усиливает болезнь и опасность. Если хотим помочь таким людям, то необходимо давать им со властью послушания и благословения, противоположные их воле и желанию, и требовать исполнения безоговорочного и неукоснительного.

Один брат в этом монастыре жил шесть лет, но наконец повредился и ушел в мир, попал в дом умалишенных. Причина все та же – самочиние! Хотя брат тот, как казалось, каждый раз после такого проступка непослушания «сердечно» каялся, но после прощения и епитимии опять скоро успокаивался и продолжал самочинничать. Постепенно покаяние его все ослабевало, пока не растаяло совсем, а самость окрепла и заняла все подходы к сердцу. Результатом было то, что он стал слышать разные странные звуки во время молитвы (мяукание котов и тому подобное), стал затрудняться знаменовать себя крестом и в конце концов ушел из монастыря, серьезно заболев душой... Таких людей надо вовремя удалять из монастыря: им недоступно монашество. Потом через много, может быть, времени, они сильно заболеют. Есть еще один признак этого недуга. Во время исповеди такие люди обычно стараются не столько исповедовать грехи, сколько беседовать, и на каждое замечание духовника выказывают противление. Лечить таких людей можно, если они согласятся принимать «горькие лекарства», «носить наручники», то есть необходимо держать их в строгих ограничениях, назначать ряд запретов, укрощающих их волю и самость. Если они понесут это, их нужно терпеть, им можно помочь. Часто такие люди порываются читать сразу серьезные книги о молитве, о сокровенном делании: преподобных Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова и тому подобные. Хотят молиться особенно, достичь скоро сердечной молитвы. Надо определять им постепенный порядок в чтении, в молитвенных правилах. Обычно послушникам здесь дают сравнительно небольшой келейный канон, так как главное, что от них требуется, – послушание, отсечение своей воли и доверие с откровением помыслов. Остальное может устроиться только вслед за этим.

Отец Н. в Пантелеимоновом монастыре говорил, что легче иметь дело духовнику с молодыми: они, как воск, мягкие и податливые. Их легко утешить в скорби или в искушении, легко поправить, поддержать, легко перевоспитать. Впал, скажем, молодой послушник в уныние, затосковал по родине, по близким – позволишь ему: «Ну, напиши письмецо родным, как

живешь, как хорошо здесь», или еще: «А ты вот так помолись», «Сделай вот так-то» – и смотришь: уже он потеплел, глаза засветились, душа повеселела. А у взрослых – все сомнения, все недоверие, все самость и самосмышленность, какая-то тягота, неповоротливость, ожесточенность. Юные гораздо более открыты, как бы прозрачнее – насквозь просматриваются, готовы все рассказать: все мысли, чувства, что подумал, что пожелал, – они хотят протянуть руку, чтобы их поддержали, повели. И пусть лучше все спрашивает у духовника, а не тому верит, что наговорают иные братья от своей ворчливости и ропотливости. Как хорошо, чтобы все открывал, все говорил – все, что смутило душу. Услышал что-либо осудительное, чей-либо наговор, душа омрачилась, запали в сердце смутные помыслы – надо скорее открыть духовнику: это не донос, не осуждение, а забота о своей душе. Тот поправит его, разъяснит, что от чего здесь исходит, научит не доверять этим наговорам, не верить легко каждому слову, тем более отбегать от слова осуждения, научит сомневаться при слышании таких наговоров: «А действительно ли было так на деле?», «Вправду ли тот согрешил?», «Мало ли что кому кажется или думается». А иначе все это будет тайно копиться в сокровенностях душевных и отравлять всю жизнь в обители, отнимать мир от сердца, столь необходимый для молитвенной, душеполезной деятельности. Особенно если на игумена кто наговаривает, надо срочно предостеречь послушника, чтобы никоим образом не поверил этому. Теперь часто бывают болящие люди, уже среди самых юных заметно, это как порча какая-то, уже с самого младенчества этот больной мир накладывает печать болезней на души, и часто очень надолго ложится это на человека и медленно врачует. Но если такие люди со странностями, поврежденные, слушаются, доверяются, не прекословят, их надо терпеть и им можно помочь.

Для Иисусовой молитвы полезно читать псалмы. Некоторые никак не могли начать внимательно молиться Иисусовой молитвой: возьмут четки в руки, а мысли бегут и бегут. Там что-то скрипнуло, там кто-то прошел – и вот уже побежали мысли за этими шорохами. А псалмы – это поэзия! Они дают пищу уму,

так что ему уже интересно, и тогда он собирается; потом уже можно будет и одной молитвой Иисусовой молиться. А сразу – трудно.

Да, здесь, на Афоне, заметно, что в греческих монастырях настоятель прежде всего выращивает надежное, верное, безоговорочно доверяющее ему поколение монахов, создает вначале же крепкое, основательное ядро в среде братства, и оно-то уже затем само контролирует всю жизнь в монастыре, задает как бы ведущий тон всему монашескому хору. Эти ближайшие по духу игумену братия как сами не нарушают законов монастырской жизни, даже малейших заповедей настоятеля, так и никому не позволяют нарушать. Для того чтобы воспитать таких людей, настоятель поначалу способного и доверяющего ему послушника держит поближе к себе, внимательно контролирует его жизнь до мелочей. После же того, как тот «оперится» и покрепит, ставит его на определенное место, и тот трудится без колебания, шатания, как хорошо подогнанная, отшлифованная, смазанная деталь в сложном механизме. Когда же таким образом отлажен и отработан весь механизм братской жизни, тогда уже и сам игумен может не так часто показываться на братии, но проводить довольно собранную молитвенную келейную жизнь. Даже когда он выезжает из монастыря, то и это вовсе не отражается на настрое братском, и вся жизнь течет точно так же, как и всегда. Братия и не чувствуют отсутствия своего игумена. Так же, когда он в обители, его часто не видят, но он может руководить монастырем и из своей кельи через верных, точных исполнителей игуменского благословения. Итак, все делается под его контролем, под его руководством, во всем чувствуется его духовное влияние; хотя сам он часто незаметен, ощущается его «рука», хотя лица его не видно и голос не слышен.

Вообще поражает у греков необыкновенно благоговейное и почтительное отношение к настоятелям и духовным старцам – «герондам». Такое редко где увидишь. Здесь это древнейшая традиция, отголоски древнейшей монашеской культуры, то, что уже многими христианами забыто или вовсе не ведомо. Сам игуменский сан, звание настоятеля вызывают у монахов

крайнее уважение, послушание, преклонение. И это чаще всего не лицемерие, не показное, а искреннее чувство. Логически это трудно, да и невозможно объяснить. Это именно древняя культура Афона.

Если советоваться с греческими отцами, то надо учитывать и то, что они при всей духовности все-таки не могут до конца понять наше состояние, глубину той трагедии, которую переживает наше поколение, родившееся, выросшее в коммунистической стране, в среде страшно деградировавшей, в ужасающей духовной пустоте, под нажимом самых безумных, злобных идей. Это положение невозможно объяснить словами, изобразить самыми яркими красками. Греческие отцы дают советы, исходя все-таки по большей части из состояния греческого народа. А греки – даже в миру – очень набожны, очень расположены к вере. Если в городах и воцарился европейский дух, то в деревнях еще очень сильно Православие (а больших городов в Греции мало), так что в общем народ здесь гораздо более религиозный, чем у нас. Многое, что легко применимо к грекам, нам подойдет с трудом или вообще окажется неприменимым. Все это необходимо учитывать...

Много еще говорили с отцами, но всего не записываю, да и то, что записал, не дословно, а более – в духе, то есть такого рода мысли высказывали отцы. И это малое, однако, очень важно, так как позволяет посмотреть на Афон с разных точек зрения и увидеть все «объемнее».

Вчера был в монастыре Симонопетра. Когда выходил из Ксиропотама, был дождь, но постепенно погода прояснилась; шли по дороге, врезавшейся в крутой склон, внизу море, вдали острова; небо густой синевы, прозрачное; простор, свежесть, дышится как-то глубоко и сладко. Чудный день! Какая-то легкость и беззаботность на сердце! Почему-то на Афоне спадают все тяжести с души, как бы отсеиваются, когда только подплываешь к Святой Горе, и совсем уже боятся высадиться вслед за тобой на берег афонский. Наверное, так и остаются ожидать у пристани в море, когда ты опять вступишь на колеблющуюся палубу корабля, – тут и они сразу же опять наваливаются на тебя. Но пока – хорошо и радостно!

В монастыре порядочно побеседовал с духовником, отцом М. Он сравнительно молод, но в монастыре живет уже долго. Родом из Франции, там занимался бурной деятельностью: говорят, возглавлял какое-то молодежное движение, писал статьи, был известен в Европе. Но вот попал на Святую Гору, пленился ее духом, остался здесь, принял Святое Крещение, вступил в иноческое братство, теперь уже иеромонах и даже духовник. Он говорил, что хорошо, конечно, пройти по монастырям, посмотреть, как живут монахи: всюду можно будет приметить что-то такое, что пригодится и можно будет приложить в нашей обители в Грузии. Но не надо стараться точно перенести туда афонский образ жизни: из этого ничего не выйдет. Здесь – Афон, Святая Гора, удел Божией Матери, место, находящееся под особым покровом Ее, огражденное особыми обетованиями; и то, что возможно здесь, может оказаться невозможным в другом месте. Конечно же, направление монашеской жизни везде одно: это все то же учение, которое изложено святыми отцами, и пути спасения ведут все к одной цели и сходятся наконец в одной точке, но идти можно с разной быстротой, с разным грузом, с различным настроением, и это соразмеряется с силами и тем «задатком», какой дает благодать вступающему на этот путь. Был случай: один настоятель православного монастыря в Англии пытался применить те же правила, что существуют на Афоне, создать как бы маленькую копию Афона в другой стране, и в конце концов все разрушилось, он остался один. А вот отец Софроний¹³³ в той же Англии сумел правильно использовать афонский опыт, хотя многие его укоряли за послабления, говорили: «Ты не агиоритис!» (не святогорец), но тем не менее он многим помог на пути ко спасению.

Не стоит вводить в монастыре какую-то «сухую» схему: люди в нашей стране и так устали от разного рода «систем» совдепа, не стоит им теперь предлагать еще жесткую «систему», но только церковную, такую «монастырскую казарму». Люди должны полюбить, уважать Церковь и монастыри, они должны увидеть в нас, братии монастырской, одну семью, единомысленную, сплетенную живой любовью.

Поэтому и главное усилие должно быть направлено на то, чтобы монастырь представлял собой настоящее братство, чтобы братия особенно старались любить и почитать друг друга. Молитва должна идти уже вслед за этим. Хотя в монастыре все делается для молитвы, все остальные труды – это только подготовка к молитве, но братский дух в обители – необходимое условие, иначе все будет распадаться и затруднять спасение.

Большое внимание надо уделять постановке службы в храме, а также церковному пению. Здесь пению тоже приходится учить долго, и не все могут петь правильно и хорошо. В этом монастыре – по благословению игумена – братия поют много и каждый день, так что служба проходит очень торжественно не только в праздники, но и в простые дни, и поет на клиросе помногу братий. Это поднимает молитвенный настрой и развивает у братии навык к пению. Служба должна быть достаточно собрана, проходить бодро, как бы «на одном дыхании», цельно, связно, торжественно, не должна растягиваться искусственно, что обычно расслабляет молящихся.

В отношении братии игумену иногда необходимо быть строгим, но у братии не должно возникать страха или робости подходить к нему и открывать свои проблемы. Этому надо их учить. Надо и самому спрашивать об их делах, о послушании, о настроении, о чем они думают, что их тревожит, что занимает, каких взглядов они держатся и так далее. Необходимо, чтобы они даже с радостью открывали все, что их беспокоит. Они должны чувствовать, что игумен их любит, о них заботится: даже когда он повысит голос, строго обличит, и это они должны принимать спокойно и даже с радостью, как знак заботы, любви, переживания за их души. Игумен должен часто молиться за монастырь, за братию. Они непременно будут чувствовать, что он за них молится, это будет и их подвигать к молитве. Игумен должен быть на самом деле «впереди идущим». (Интересно, что на грузинском языке настоятель зовется «цинамзгвари», то есть «впереди идущий», или даже «предшествующий», «предводительствующий».) Он не должен открывать и исповедовать перед братией свои немощи, даже из чувства

искреннего смирения. Надо с каждым братом работать индивидуально и давать каждому свое молитвенное правило, свой способ произнесения молитвы. Иногда именно быстрое произнесение Иисусовой молитвы помогает удержать ум от рассеянности. Ум наш очень быстрый: если делать паузы, он спешит убежать очень далеко. Произнесение молитвы вслух хорошо для начинающих: это помогает навыкнуть молитве. Лучше молитву сосредоточить на словах, можно молиться в верхней части сердца, но для неочищенного ума есть опасность, что он будет в сердце вносить и свою нечистоту, поэтому прежде всего надо следить за умом.

Детей принимать в монастырь хорошо: они гораздо лучше раскрываются и принимают советы, больше доверяются своему духовному отцу. Но надо просить от родителей письменного согласия на жизнь их детей в обители, постараться как-то узаконить их принятие в монастырь, чтобы избежать возможных неприятностей в дальнейшем. С постригом торопиться не надо, а в подрясник можно одеть и пораньше. Если юноша еще учится в школе и появилось у него желание идти в монастырь, то все-таки лучше, чтобы он закончил учебу. Пусть пока по временам живет в обители, даже имеет свое молитвенное правило, схожее с правилом монастырских послушников, и, даже находясь в миру, пусть его исполняет. Когда же он будет в обители, то в этот период будет жить на правах послушника, нести послушание, одевать подрясник и скуфью.

Настоятелю надо смириться с тем, что сразу все хорошо во вновь устраиваемой обители быть не может. Много раз все будет рушиться, но надо терпеть и возводить павшие стены вновь, отбрасывать развалившиеся камни, перекладывать заново годные, стараясь сложить кладку попрочнее. Не стоит часто обличать братьев, по многу раз указывать на их болезни и недостатки: необходимо поддерживать в них радость и надежду. Христианство должно быть для них радостно, а не отяготительно, как список запретов и набор укоризн. Чаще говорить: «Хорошо, хорошо ты сделал, только вот это немного иначе надо, лучше вот так...». И только, когда человек начнет бодрую, самоотверженную жизнь, тогда можно его чаще

поправлять и обличать. Но вначале лучше подбадривать и утешать. После уже хорошо поправлять и в самых мелочах. Детям же надо все показывать, каждый шаг прослеживать, всему учить – как ходить, как говорить, как есть, как спать и так далее.

...Надо бы иметь доверенного человека в монастыре, на кого можно было бы оставлять обитель при необходимости. Хорошо было бы пожить на Афоне полгода, посмотреть, что и как здесь делается. По наружности уже ничего нового больше узнать невозможно, так как здесь все одно, и такого срока достаточно, чтобы изучить основной внешний строй афонской киновии. А братьев оставлять на больший срок одних опасно. Братия должны чувствовать, что игумен всегда с ними и эти его выезды на Афон – ради их пользы.

Отблеск вечной красоты

Заметно, что каждое место имеет свой четкий и ярко выраженный «дух»: точно так, как каждый предмет имеет свой неповторимый цвет, свой особенный запах, как все несет в себе и свой особенный настрой, свою идею, которая обращена к душе и что-то громко ей проповедует – доброе или злое. И душа довольно сильно воспринимает этот настрой, как бы слышит громкий голос, различает внушаемое ей понятие, исходящее ото всего ее окружающего. Особенно же все, что относится к человеческим «произведениям искусства», густо насыщено разного рода идеями и очень сильно навязывается на душу: каждое сочетание звуков в мелодии, сочетание красок, линий, образов на картине, ритмы, фигуры в танце, сочетание рифм и слов в поэзии – все направлено к душе с целью внушить, навязать какую-то идею, чаще всего ложную, богоборческую. И вообще, все, к чему прикасается человек так или этак, начинает «излучать» его настрой, как бы пропитывается духовной направленностью того, кто это сделал, кто к этому прикоснулся. И это «духовное веяние» пронизывает собой все, что соприкасается с нами, касается нашей жизни и деятельности: дома, комнаты, самые разные предметы, даже улицы, дороги, засеянные поля, парки, просеки в лесу, каждое срубленное или посаженное дерево – все, к чему прикасалась рука человека. Ведь когда человек что-то делает, совершает какой-то поступок, он в это время не бывает совершенно «нейтрален», «пуст», чужд всякой идеи, совершенно независим ни от чего – нет! Он обязательно весь подчинен какой-то определенной «философии», определенному мировоззрению, находится под влиянием каких-то идей и понятий, весь пронизан определенным настроением, и его дух устремлен к конкретной цели. Он непременно теперь же предстоит перед «кем-то», на «кого-то» взирает внутренним оком, «кому-то» посвящает каждое свое движение, хотя сам осознанно может этого вовсе не замечать. Поэтому-то и все, что остается после человека, несет в себе эту «посвященность», эту духовную

направленность. И тот мир, который целиком от Бога, которого не коснулась рука человеческая, – и он несет в себе духовное содержание, и он весь несет в себе идеи, глубочайший таинственный смысл, который может открыться просвещенному благодатью духу человеческому.

И вот как часто, только входишь в чей-то дом, как уже чувствуешь какую-то тоску, печаль, даже тревогу, как будто камень ложится на сердце, и хочешь понять, что же так обременило душу, но не можешь найти явную причину; тем более таким духом пронизаны города или селения, и тем более страны. Ничто не проходит бесследно; человек проживает свой срок, и после него остается некий духовный след, как бы дух, и долго еще сохраняется на том месте, где он жил, и люди это замечают, душой чувствуют, но далеко не всегда разум может здесь что-то понять и дать правильную оценку.

Вот к тому же: последний старец Оптиной пустыни иеромонах Никон (Беляев) в своем дневнике писал, как один казанский архиепископ, отличавшийся высокой духовностью, даже прозорливостью, однажды запретил вкушать за праздничной трапезой прекрасно приготовленную рыбу. Оказалось, повар во время приготовления ее повредил палец, выругался по поводу этой рыбы, сказал что-то вроде того: «Будь ты проклята» – или еще что. И вот архиерей повелел эту рыбу выбросить, несмотря на раскаяние повара. (Запись от 22 марта 1909 года.)¹³⁴ Но о проклятии рыбы архиерею было открыто по дару прозорливости, – значит, от Самого Духа Святого ему известно и то, что рыбу вкушать нельзя! Как это поучительно!

Еще знаем, что сама одежда, касавшаяся святых (скуфья или пояс, которые они носили), уже приобретала чудодейственную силу, исцеляла болезни телесные и душевные.

Вспоминаю свою последнюю поездку в Абхазию. Это было еще за год до войны; тогда там ничего особенного не происходило и все было как всегда, но какая-то непонятная тревога была все время на сердце, все казалось каким-то злобным, все люди представлялись напряженными, как будто

больными и таящими в себе озлобленное недоверие. И меня преследовал все время какой-то страх, все казалось, что за дверью квартиры кто-то крадется, что с потолка стучат и тому подобное. В монастыре – в своей келье среди дикого леса – никогда не испытывал такого страха, а тут сам не понимал, что на меня нашло. И вот уже через год все эти страшные события: ужасная война, резня, разбои, кровопролития, поджоги, страшный садизм, горе и слезы, сколько несчастий, сколько невыносимой боли! Конечно же, и тогда все это уже копилось в сердцах, уже носилось в воздухе...

Но к чему все это? К тому, что и на Афоне тоже был во всем свой особенный настрой, дух, как будто не различимый обонянием, но только духовным чутьем, присущим самой душе, – некий «фимиами», который пронизывал даже самый воздух Святой Горы. Стоило только сойти с корабля на берег, пройти по пристани к первым домикам на набережной, как уже здесь же, среди торговых лавок, разных хозяйственных построек, шумной толпы приезжих, подъезжающих, отходящих машин сразу почувствовалась какая-то особенная покойность, радость, как-то глубоко задышалось и стало беззаботно на душе. Потом еще и еще замечалось, что весь этот приятнейший душе настрой находится везде, он как бы в самой атмосфере Афона: он и в лесу, и у моря, и на пыльных афонских дорогах, и на скалистых тропах, он и в богослужении, и в трапезной, и в кельях, и во дворе монастырском, и за стенами, он и на развалинах среди склонов ущелий, и под старыми оливами в садах... Сначала думалось, что это просто «психологический» момент, что повлияло то или иное обстоятельство, впечатление. Но, пытаясь понять это чувство, останавливаешься на твердом убеждении, что это нечто необъяснимое.

Так бывает, когда зайдешь в дом, где стоит где-то в углу букет жасмина, – сразу чувствуешь аромат, услаждаешься, но не можешь понять, откуда это и что это...

И вот встретилось интересное разъяснение того, что меня поразило на Святой Горе! Пишет один русский паломник в брошюре о Святой Горе (издание 1950 года):

«Прежде всего всем афонским монахам присуща какая-то необыкновенная жизнерадостность, соединенная с неизменным радушием и любезностью. И когда мне пришлось знакомиться с длинным рядом этих милых и навсегда оставшихся в моей памяти людей, то я под конец задумался над вопросом: каким способом учатся они на Афоне этим радушию и любезности; откуда черпают они свою неизменную жизнерадостность, столь дорогую для каждого их собеседника-мирянина, приходящего весьма часто к ним с усталой и разбитой душой? И совсем случайно на этот вопрос просто и открыто ответил один из старых афонских иноков в Андреевском скиту: «Весь Афон – Царствие радости Божией! – сказал он. – Сама Богоматерь разбросала по нему эту радость с высоты небесной. Вот и цветет теперь повсюду вечным цветом... Радость Божия здесь кругом – и на горах, и в ущельях, и на прекрасных полях, возделываемых братией... Куда ни направишь взор – все вечно цветет, красуется и радуется... Как же не стать здесь и самому человеку вечно радостным, если он живет праведно? Пробудет монах на Афоне год, два, десять лет и впитывает в себя Божию радость от природы, а потом уже и ходит всю жизнь с нею в сердце. Иначе и быть не может! А у кого Божия радость в сердце, разве может он быть злобным и неприветливым с другим человеком? Вот и вся наша афонская школа общения с людьми»».

Но, думаю, в словах монаха только намек на истинную причину такого духовного настроения афонских насельников. Не в радостотворной природе дело и не в психологическом ее воздействии на души, но лучше сказать так: Афон есть чудо Божией Матери, живое и очевидное, и настолько обильна эта благодать, что она ощутима во всем, даже в самом воздухе, даже в природе – в ее вечнозеленой листве и всегда цветущих лугах. Это как бы новая радуга, знак радостного примирения с Богом, исполнение ангельского гимна: *слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение*¹³⁵. Должно же Царствие Небесное давать знать себя на земле, отражаться хоть слабым отблеском своей вечной красоты в нашей земной юдоли! В душах человеческих этот отблеск видим в святых, в

различной степени сияет этим светом каждая обитель иноческая, если живет благодатной жизнью. Но вот как целая страна, хоть и крошечная, как некое малое государство, некое царство – это только на Афоне. Сама Владычица Небесная Своим покровом осеняет эту страну монашескую, ограждает эту «крепость Божию». Последнее прибежище странствующих, скорбящих душ при конце времен! Подобие хладного облака в пещи вавилонской, отгоняющее жестокие языки греховного пламени! И вот они, «отроки» Божии и Ангелы, вкупе посреди огненного вихря поют песнь – исповедание от лица всех христиан... И как утешительно только помнить этот святой островок, этот живой отблеск неба в темноте земной ночи на поверхности огромного колеблющегося моря!

Еще раз на святом Афоне

По милости Божией, благодаря помощи ксиропотамских отцов, в 1995 году, осенью, побывали на Святой Горе с братьями нашего монастыря: кроме меня, четыре наших монаха и один послушник. Пробыли здесь месяц, пешком обошли всю Гору, описали по острову «восьмерку»: начали путешествие с Ксиропотама, затем через Карею (где в Протате продлили паспорта для месячного пребывания здесь) отправились в Иверон, затем в Филофей, Каракал, Лавру и так далее, обошедши всю юго-восточную половину Афона, и из Симонопетра пришли опять в Ксиропотам. Немного передохнули и сделали второй круг – через Пантелеимонов, Дохиар, Ксенофонт и так далее обошли северо-западную половину острова и из Ставреникиты через Карею прибыли опять в Ксиропотам, откуда через несколько дней и отправились восвояси. Таким образом, побывали во всех двадцати монастырях, в некоторых скитах и кельях. На братию увиденное произвело сильное впечатление. Целый месяц, насыщенный столь удивительными вещами и событиями: много молились, всюду видели бесчисленные величайшие святыни и поклонялись им, видели столько древнейших предметов, свидетелей минувшей христианской истории человечества, говорящих о столь многих душах, любивших Господа, посвящавших Ему себя без остатка! Надышались святым воздухом, насмотрелись на святые лица, наслушались священных песнопений, утолили жажду афонским вином, *веселящим сердце человека*¹³⁶, насытились афонских «бращен», питающих не тело, но дух, прикоснулись к самой деснице древнего монашества и вот, глубоко вздохнув, отбыли по морю в шумные, европеизированные Салоники, откуда вскоре через мрачную Турцию вернулись на развалины Грузии. Наконец прибыли, уставшие, обессиленные дорогой, в свой такой бедный, такой тихий и скромный монастырь – после воинствующего, торжествующего, поющего гимны Афона, – как

в бедную, нищую лачугу, и потекли тихо, однообразно дни, скрашиваемые афонскими воспоминаниями...

Но даст ли увиденное, услышанное новый импульс, стимул углубиться в духовный поиск, оживит ли интерес ко внутренней жизни, пленит ли сердца наши стремлением к той красоте монашеской жизни, которой прекраснейший образ промелькнул перед нами? Породил ли в нас Афон решимость начать жить иначе, раскаяться в нерадении, измениться, затеплил ли благодатный огонек в душе? Одно дело – увидеть прекрасный сосуд, наполненный святым миром, затем поспешить домой, устроить некоторое подобие того драгоценного сосуда, но совсем иное – испросить у Бога наполнить этот сосуда благодатным миром: дело невозможное без глубокого самоотвержения, без решимости ото всего отречься ради стяжания этого истинного сокровища. Если не так, то «драгоценный сосуд» может незаметно статьместилищем самых зловонных мастей и наконец с треском расколоться.

Примечания

- ¹ - См.: Лк. 12, 58.
- ² - См.: Мф. 7, 13–14.
- ³ - Монахи – возлюбленные дети Господни. М., 2003. С. 286.
- ⁴ - См.: 2Кор. 7, 10.
- ⁵ - Ср.: Мф. 11, 30 (здесь и далее все сноски и примечания принадлежат издателям).
- ⁶ - См.: Иов. 42, 7–10.
- ⁷ - Пс. 11, 2.
- ⁸ - Пс. 11, 1–3.
- ⁹ - Святитель Игнатий (Брянчанинов). Т. 5: Приношение современному монашеству. М., 1993. С. 139–140.
- ¹⁰ - Игумен Никон (Воробьев). Нам оставлено покаяние: Письма. М., 1997. С. 71.
- ¹¹ - Ср.: Быт. 2, 7.
- ¹² - Ср.: Ин. 10, 1.
- ¹³ - Ср.: Ин. 10, 7.
- ¹⁴ - Духовное утешение на пути ко спасению. Размышления смиренного сердца. Вступление. Перевод с греческого архимандрита Амвросия (Погодина). М., 2001.
- ¹⁵ - Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993. С. 10.
- ¹⁶ - Игумения Арсения и схимонахиня Ардалиона. Путь немечтательного делания. М., 2002. С. 68–69.
- ¹⁷ - Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. С. 162–163.
- ¹⁸ - Ср.: Пс. 48, 13.
- ¹⁹ - Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 92–93.
- ²⁰ - Ср.: Притч. 30, 21–22.
- ²¹ - См.: Исх. 16, 3.
- ²² - Ср.: Мф. 19, 24; Мк. 10, 25; Лк. 18, 25.
- ²³ - Ср.: Мф. 10, 34.

- ²⁴ - Ср.: Лк. 22, 31.
- ²⁵ - Духовное утешение на пути ко спасению. Размышления смиренного сердца. Слово 18.
- ²⁶ - Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. С. 219.
- ²⁷ - Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. М., 2001. С. 180–182.
- ²⁸ - Беседы на Евангелия иже во святых отца нашего Григория Двоеслова. Книга вторая. Беседа 22, 9. М., 1996. С. 201.
- ²⁹ - Ср.: 1Кор. 9, 24.
- ³⁰ - Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица. М., 2002. С. 26.
- ³¹ - Рим. 14, 12.
- ³² - Рим. 2, 21.
- ³³ - Преподобный Иоанн, игумен Синайской горы. Лествица. С. 26.
- ³⁴ - Там же. С. 27.
- ³⁵ - Флп. 3, 13–14.
- ³⁶ - Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. С. 133–134.
- ³⁷ - Святитель Иоанн Златоуст. Т. 1. К Феодору падшему увещание 1-е. М., 1991. С. 17.
- ³⁸ - Лк. 22, 61.
- ³⁹ - Ср.: Лк. 22, 61.
- ⁴⁰ - Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. С. 76.
- ⁴¹ - Ср.: Иак. 4, 5.
- ⁴² - См.: Мф. 22, 11–13.
- ⁴³ - Ср.: Мф. 10, 10.
- ⁴⁴ - Пс. 11, 2–3.
- ⁴⁵ - Апостасия (греч.) – отступление. Под апостасией, как правило, понимается отступление людей от Бога, обмирщение, секуляризация церковного сознания.

- ⁴⁶ - Ср.: Лк. 21, 34.
- ⁴⁷ - Ср.: Откр. 6, 8.
- ⁴⁸ - Молитвы на сон грядущим. Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста.
- ⁴⁹ - Ср.: Пс. 61, 11.
- ⁵⁰ - Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. С. 69.
- ⁵¹ - Ср.: Мф. 18, 3.
- ⁵² - Житие оптинского старца иеромонаха Леонида, (в схиме Льва). Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 1994. С. 85.
- ⁵³ - Ср.: Мф. 5, 14.
- ⁵⁴ - Ср.: Мф. 13, 4.
- ⁵⁵ - Ср.: Мф. 6, 8.
- ⁵⁶ - См.: Мф. 23, 27.
- ⁵⁷ - Преподобный Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 2. М., 1993. С. 394.
- ⁵⁸ - См.: Преподобный Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 2. С. 368–372.
- ⁵⁹ - Там же. С. 372.
- ⁶⁰ - См.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Кн. 1. Тверь, 1992. С. 140–142.
- ⁶¹ - См.: Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской. М., 1895. С. 362–365.
- ⁶² - Ср.: Мф. 19, 24; Мк. 10, 25; Лк. 18, 25.
- ⁶³ - Ср.: Мф. 7, 14.
- ⁶⁴ - Епископ Игнатий (Брянчанинов). Письма к разным лицам. М., 2000. С. 369–370.
- ⁶⁵ - Мф. 6, 27.
- ⁶⁶ - См.: Мф. 18, 20.
- ⁶⁷ - Святитель Григорий Великий Двоеслов. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. М., 1996. С. 12–14.

⁶⁸ - Игумен Никон (Воробьев). Нам оставлено покаяние: Письма. С. 72.

⁶⁹ - Святитель Феофан Затворник. Письма о христианской жизни. М., 1997. С. 14.

⁷⁰ - Собрание писем святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского. М. -СПб., 1995. С. 174.

⁷¹ - Жития святых на русском языке: месяц май. М., 1992. С. 508.

⁷² - Пс. 103, 18.

⁷³ - Ср.: Мф. 13, 57.

⁷⁴ - Ср.: Мф. 14, 30–31.

⁷⁵ - Ср.: Пс. 54, 23.

⁷⁶ - Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского. С. 127–128.

⁷⁷ - Иак. 2, 19.

⁷⁸ - Иак. 2, 20.

⁷⁹ - См.: 1Кор. 3, 18–19.

⁸⁰ - См.: Мф. 14, 25–30.

⁸¹ - Ин. 15, 5.

⁸² - Каноны, или Книга Правил. СПб., 2000. С. 203.

⁸³ - Ср.: Мф. 16, 6; Мк. 8, 15; Лк. 12, 1.

⁸⁴ - Ср.: Мф. 9, 29.

⁸⁵ - Преподобный Максим Исповедник. Богословские и аскетические трактаты. М., 1993. С. 176.

⁸⁶ - См.: Последование об исповедании, увещание перед исповедью // Требник. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2002. С. 116.

⁸⁷ - Преподобный Максим Исповедник. Богословские и аскетические трактаты. С. 128.

⁸⁸ - Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского. С. 556.

⁸⁹ - Там же. С. 56–57.

⁹⁰ - Там же. С. 761.

- ⁹¹ - Полное собрание творений святителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2001. Т. 1. С. 374.
- ⁹² - Там же. С. 423.
- ⁹³ - Там же. С. 376.
- ⁹⁴ - Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского. С. 775.
- ⁹⁵ - Там же. С. 774–775.
- ⁹⁶ - Ср.: Лк. 23, 21.
- ⁹⁷ - См.: Откр. 8, 1.
- ⁹⁸ - Мф. 13, 15.
- ⁹⁹ - См.: Жития святых на русском языке: месяц май. С. 517–519.
- ¹⁰⁰ - Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского. С. 786.
- ¹⁰¹ - Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни. М., 2002. С. 542–543.
- ¹⁰² - Святитель Игнатий (Брянчанинов). Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их. М., 2001. С. 26.
- ¹⁰³ - Ср.: Притч. 11, 14.
- ¹⁰⁴ - Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. С. 70.
- ¹⁰⁵ - См.: 4Цар. 5, 11–12.
- ¹⁰⁶ - Ср.: Пс. 140, 3–4.
- ¹⁰⁷ - Священник Александр Ельчанинов. Записи. М., 1996. С. 88.
- ¹⁰⁸ - Ср.: Лк. 21, 18; Мф. 10, 29–31.
- ¹⁰⁹ - См.: Лк. 5, 19.
- ¹¹⁰ - Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. С. 184.
- ¹¹¹ - Там же. С. 186–187.
- ¹¹² - Там же. С. 188–190.
- ¹¹³ - Там же. С. 185.
- ¹¹⁴ - Там же. С. 190–191.
- ¹¹⁵ - Ср.: Мф. 7, 8; Лк. 11, 10.

¹¹⁶ - Ср.: Лк. 17, 21.

¹¹⁷ - Ср.: Мф. 6, 6.

¹¹⁸ - Ср.: Ин. 14, 23.

¹¹⁹ - Ср.: Притч. 8, 17.

¹²⁰ - Ср.: Лев. 10, 1–2.

¹²¹ - Святогорский монастырь, некогда отстроенный и заселенный грузинскими монахами. В настоящее время является греческим. В нем находится чудотворная Иверская икона Божией Матери, иначе «Портаитисса» («Вратарница»).

¹²² - Имеется в виду афонский старец Паисий (Эзнепидис; 1924–1994), великий святогорский подвижник современности, после которого осталось богатое литературное наследие – как книги, написанные им самим, так и книги, составленные из его бесед о духовной жизни с разными лицами.

¹²³ - Грузинские иноки, подвизавшиеся на Святой Горе в 10–11 вв. Преподобный Иоанн (†998; память 12/25 июля), в миру Тао-Кларджетский князь, строитель Иверского монастыря на Афоне (иначе Иверона), его игумен. Преподобный Евфимий (†1028; память 13/26 мая, 12/25 июля) – сын преподобного Иоанна и преемник его в отношении Иверской обители, по велению Божией Матери начавший перевод Священного Писания и святоотеческих творений на грузинский язык. Преподобный Георгий (†1065; память 27 июня/10 июля) – еще один игумен Иверона, завершивший труды преподобного Евфимия по переводу Библии.

¹²⁴ - Ср.: Евр. 4, 12.

¹²⁵ - Ср.: Пс. 67, 3.

¹²⁶ - Ср.: Мф. 6, 6.

¹²⁷ - Полное собрание творений святителя Игнатия (Брянчанинова). Т. 4. М., 2002. С. 471.

¹²⁸ - См.: Молитва благословения кадила, последование проскомидии.

¹²⁹ - Ср.: Ин. 4, 10, 14; 7, 37–39.

¹³⁰ - Тропарь, глас 8, последование вседневной полунощницы.

¹³¹ - Ср.: Пс. 103, 25–26.

¹³² - Протат – орган местного афонского монашеского самоуправления.

¹³³ - Архимандрит Софроний (Сахаров (1896–1993)) – известный подвижник и духовный писатель двадцатого столетия. С 1925 по 1947 год подвизался на Святой Горе Афон, был близок к преподобному старцу Силуану († 1938; память 11/24 сентября). Автор книг: «Старец Силуан» (Париж, 1952), «Видеть Бога как он есть» (Эссекс, 1985), «О молитве» (Париж, 1991) и других. С 1959 года жил в Англии, где в Эссексе основал обитель в честь святого Иоанна Предтечи.

¹³⁴ - См.: Иеромонах Никон (Беляев). Дневник последнего духовника Оптиной пустыни. Минск, 2002. С. 102–103.

¹³⁵ - Ср.: Лк. 2, 14.

¹³⁶ - Ср.: Пс. 103, 15.